

Быть княгиней

На балу
и в будуаре



КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Как жили женщины разных эпох

Коллектив авторов

**Быть княгиней. На
балу и в будуаре**

«Алгоритм»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Коллектив авторов

Быть княгиней. На балу и в будуаре / Коллектив авторов —
«Алгоритм», 2017 — (Как жили женщины разных эпох)

ISBN 978-5-906995-03-2

Пышные кринолины платьев могли достигать диаметра в несколько метров. Высота прически ограничивалась лишь одним – высотой кареты, в которой поедет знатная особа. Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж, а под сотнями оборок платья девушки носили вовсе не элегантные туфли, а самые настоящие валенки, так как даже дворцы не отапливались. Даже княгиням в XVIII веке приходилось непросто, тем интереснее воспоминания величайших женщин своей эпохи, мудро и элегантно правящих бал и меняющих ход истории за чашкой чая. Как в совершенстве овладеть искусством плетения интриг? Как быть хозяйкой бала? Из чего складывалась жизнь княгини в XVIII веке? Читайте, и узнаете!

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906995-03-2

© Коллектив авторов, 2017
© Алгоритм, 2017

Содержание

Екатерина Романовна Дашкова	6
Записки	7
Письмо княгини Дашковой, адресованное мисс Уильмот	7
Глава I	10
Глава II	16
Глава III	23
Глава IV	28
Глава V	38
Глава VI	43
Глава VII	49
Глава VIII	54
Глава XI	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Вероника Богданова

Быть княгиней. На балу и в будуаре

© Сост. В. Богданова, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Екатерина Романовна Дашкова

*Дом – дворец роскошный, длинный, двухэтажный,
С садом и с решеткой; муж – сановник важный.
Красота, богатство, знатность и свобода –
Все ей даровали случай и природа.
Только показалась – и над светским миром
Солнцем засияла, вознеслась кумиром!
Воин, царедворец, дипломат, посланник –
Красоты волшебной раболепный данник;
Свет ей рукоплещет, свет ей подражает.
Властвует княгиня, цепи налагает,
Но цепей не носит, прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:
Ей чужое счастье ничего не стоит –
Если и погибнет, торжество удвоит!*

Н. Некрасов

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810), урожденная графиня Воронцова. Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762 года. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге, и княгиня Дашкова не играла заметной роли в делах правления.

Одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии Российской. В ее мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II.

Записки

Письмо княгини Дашковой, адресованное мисс Уильмот

Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой молодой и любезный друг. Перед вами картина жизни беспокойной и бурной или, точнее говоря, печальной и обремененной затаенными от мира тревогами сердца, которых не могли победить ни гордость, ни мужество. В этом отношении я могу назвать себя мучеником принуждения; я говорю мучеником, потому что скрывать свои чувства и представлять в ложном свете всегда было противно и невыносимо тяжело для моей природы.

Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь посвящаю вам. Я отклонила все их просьбы, но не могу отказать вам. Итак, примите историю моей жизни, грустную историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман. Она с вашим именем явится в свет. Я писала ее без приготовления, так, как я говорю, и с полной откровенностью, устоявшей против всех горьких уроков опыта. Правда, я обошла молчанием или только слегка коснулась тех душевных потрясений, которые были следствием неблагодарности людей, обманувших мое безграничное доверие им. Это единственные факты, обойденные мной; одно воспоминание о них еще доселе приводит меня в трепет.

Из моего рассказа будет видно, как опасно плыть на одном корабле с «великими мира сего» и как придворная атмосфера душит развитие самых энергических натур; за всем тем совесть, свободная от упрека, может дать нам достаточно сил – чтобы обезоружить твердостью души свирепость тирана и спокойно перенести самые несправедливые гонения. Здесь же мы найдем пример, как зависть и ее верная подруга – клевета – преследуют нас на известной степени славы.



Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810) – Княгиня Российской империи, директор Санкт-Петербургской Императорской академии наук. Одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии Российской. В ее мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II. Художник – Д. Г. Левицкий

Когда мне было уже шестьдесят лет, когда я вынесла много несчастий, болезней, жестокое изгнание и в уединении посвятила себя благу своих крестьян, мой взор в первый раз обратился к прошедшему; и я увидела всю ложь и пристрастные обвинения, распространенные некоторыми французскими писателями против Катерины большой, но вместе с тем они не пощадили по дороге своего злословия и ее друга, Катерину маленькую. В этих памфлетах ваша Дашкова очернена всеми пороками, совершенно чуждыми ее характеру; у одних она является женщиной самого преступного честолюбия, у других – грубой развратницей.

После этого легко понять, что самая нравственная жизнь, проведенная большей частью вдали от света, чему не многие умеют дать настоящую цену, тем меньше – завидовать ей, и эта жизнь не могла укрыться от пера злонамеренного памфлетиста. Хотя Екатерина II желала и искала средств против зла, внесенного во Францию мистиками и философами-самозванцами, хотя они боялись могущества великой и страшной царицы; но, вероятно, они думали отомстить за себя, с озлоблением нападая на женщину, не имевшую влияния на правление, и старались отнять у нее то, что для нее всего дороже – чистую репутацию.

Такова, впрочем, была моя горькая участь: когда судьба лишила меня нашей образованной государыни, когда я не могу больше пользоваться ее личным расположением или радоваться счастью страны, управляемой ею, враги ее принесли меня на жертву едкой клеветы.

Но, конечно, и это зло, как и все в мире, пройдет. Поэтому позвольте лучше поговорить с вами, мой милый и юный друг, о том, что ближе к нам – о нашей взаимной и нежной дружбе; я невыразимо глубоко чувствую ваше доверие ко мне; и вы не могли лучше доказать ее, как покинув семейство и родину, чтобы посетить меня здесь и утешить своим присутствием старую женщину на закате дней ее, которая справедливо может похвалиться одним достоинством, что она не прожила ни одного дня только для себя самой.

Нужно ли говорить о том, как дорого для меня ваше присутствие, как я уважаю и удивляюсь вашим талантам, вашей скромности, вашей врожденной веселости, соединенной с чистыми побуждениями вашей жизни? Нет надобности говорить и о том, как вы облегчили, освежили мое существование. И где я возьму выражения, способные верно передать эти впечатления? Поэтому я ограничусь одним простым уверением, что я уважаю, люблю и удивляюсь вам со всей силой любящего сердца; вы его знаете и поверите, что эти чувства прекратятся только с последним вздохом вашего искреннего друга княгини Дашковой.

Троицкое, 27 октября 1805 года

Глава I

Я родилась в Петербурге в 1744 году, примерно около того времени, когда императрица Елизавета возвратилась из Москвы после своей коронации. Государыня приняла меня от купели, а племянник ее, великий князь, впоследствии император Петр III, был моим крестным отцом. Эту честь я могла бы приписать женитьбе моего дяди, канцлера, на двоюродной сестре Елизаветы, но я больше обязана этим чувству дружбы ее к моей матери, которая во время прежнего царствования великодушно и, нельзя не прибавить, очень деликатно помогала великой княгине деньгами, а она часто нуждалась в них, потому что сорила ими много, а получала мало.

Я имела несчастье потерять свою мать на втором году жизни и узнала о ее прекрасных качествах только от тех друзей и лиц, которые с чувством признательности вспоминали о ней.

Во время этого события я находилась у своей бабушки, в одной из ее богатых деревень. С трудом она расставалась со мной, когда мне шел четвертый год, чтобы отдать меня на воспитание в менее ласковые руки. Впрочем, мой дядя, канцлер, вырвал меня из теплых объятий этой доброй старухи и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. У нас были одни учителя, одни комнаты, одна одежда. Все внешние обстоятельства, казалось, должны были образовать из нас совершенно одинаковые существа; и при всем том во все периоды нашей жизни между нами не было ничего общего: эту черту не мешает, между прочим, заметить тем педагогам, которые обобщают системы воспитания и методически предписывают правила относительно столь важного предмета, доселе, впрочем, худо понятого; и если принять во внимание разнообразие и глубину этого вопроса, то едва ли можно втиснуть его в одну общую теорию.

Я не стану распространяться о фамилии своего отца. Древность ее и блистательные заслуги моих предков ставят имя Воронцовых на таком видном месте, что моей родовой гордости нечего больше желать в этом отношении. Граф Роман, мой отец, второй брат канцлера, был человек разгульный и в молодости лишился моей матери. Он мало занимался своими делами и потому охотно передал меня дяде. Этот добрый родич, признательный моей матери и любивший своего брата, с удовольствием меня принял.

У меня были две сестры: старшая – Марья, после замужества графиня Бутурлина, вторая – Елизавета, впоследствии Полянская; они скоро были замечены императрицей и еще в детстве назначены фрейлинами, жившими при дворе. Александр, мой старший брат, безотлучно находился с отцом, и я только его одного знала с младенчества: мы имели случай часто видеться, и таким образом между нами с ранней поры возникла привязанность, которая с годами превратилась во взаимное доверие и дружбу, до настоящей минуты сохраненную. Мой младший брат Семен жил в деревне со своим дедушкой, и я редко видела его даже по возвращении его в город. Сестер я встречала еще реже. Останавливаюсь на этих обстоятельствах, потому что они в некотором отношении имели влияние на мой характер.

Мой дядя ничего не жалел, чтобы дать нам лучших учителей, и по тому времени мы были воспитаны превосходно. Нас учили четверем языкам, и по-французски мы говорили свободно; государственный секретарь преподавал нам итальянский язык, а Бехтеев давал уроки русского, как плохо мы ни занимались им. В танцах мы показали большие успехи и несколько умели рисовать.

С такими претензиями и наружным светским лоском кто мог упрекнуть наше воспитание в недостатках? Но что было сделано для образования характера и умственного развития? Ровно ничего. Дядя не имел времени, а тетка – ни способности, ни призвания.

Я по природе была гордой, и эта гордость соединялась с какой-то необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца; потому одним из пламенных моих стремлений было желание быть любимой всеми, кто окружал меня, и притом так же искренне, как я любила их. Это чувство, когда мне исполнилось тринадцать лет, до такой степени укоренилось во мне, что я, добиваясь расположения тех людей, которым мое юношеское и восторженное сердце было горячо предано, воображала, что я не могу найти ни взаимного сочувствия, ни ответа на свою любовь; вследствие этого я скоро разочаровалась и считала себя одиноким существом.

В таком странном настроении духа мое разочарование в дружбе послужило на пользу моему воспитанию, по крайней мере в той степени, в какой это было необходимо развитию моего рассудка. Около этого времени я заболела корью; по силе указа, изданного по этому случаю, было запрещено всякое сношение с двором тех семейств, которые страдали оспой, из опасения заразить великого князя Павла. Едва возникли первые симптомы моей болезни, меня послали за семьдесят верст от Петербурга в деревню.

Во время этого случайного изгнания я находилась под надзором одной немки, жены русского майора. Эти люди, одинаково холодные, не вызвали во мне никакого юношеского расположения к себе. Я не питала к ним ни малейшей симпатии, а когда болезнь ослабила мое зрение, я лишилась последнего утешения – читать книги. Моя первоначальная резвость и веселость уступили место глубокой меланхолии и мрачным размышлениям обо всем, что окружало меня. Я сделалась серьезной и мечтательной, неразговорчивой и никогда без предварительно обдуманного плана не удовлетворяла своей любознательности.

Как только я могла приняться за чтение, книги сделались предметом моей страсти. Бейль, Монтескье, Буало и Вольтер были любимыми авторами; с этой поры я стала чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда тяготит нас, и, если прежде я искала с детским увлечением одобрения со стороны других, теперь я сосредоточилась в самой себе и стала разрабатывать те умственные инстинкты, которые могут поставить нас выше обстоятельств. Прежде чем я возвратилась в Петербург, брат мой, Александр, отправился в Париж; так я лишилась его нежного внимания и тем больше грустила, чем меньше встречала сочувствия вокруг себя. Впрочем, забываясь среди книг или развлекаясь музыкой, я горевала только тогда, когда покидала свою комнату. Я просиживала за чтением иногда целые ночи с тем умственным напряжением, после которого следовала бессонница, и на взгляд казалась до того болезненной, что мой почтенный дядя беспокоился за мое здоровье, в чем приняла участие и императрица Елизавета. По ее приказанию много раз посетил меня первый ее медик, Бургав; он с особенным вниманием занялся мной и нашел, что общее здоровье еще не повреждено и болезненное мое состояние, возбуждавшее опасения со стороны моих друзей, происходило больше от нравственного нерасположения, чем от физического расстройства. Вследствие этого мнения стали осаждать меня тысячами вопросов, но я не призналась в истине, да едва ли и сама могла понять ее; но если бы я и сумела объяснить, то скорей возбудила бы упреки, чем симпатию и участие к себе. Говоря об особенностях своего ума, я должна также упомянуть о той гордости и раздражительности, которые, не против осуществления романтических видений фантазии, заставили меня искать это воображаемое счастье внутри себя. Таким образом, я решила таить свои чувства, и в то время, когда мое лицо покрывалось бледностью и видимым изнеможением, что я приписывала слабости нервов и головным болям, мой ум постепенно мужал среди своих ежедневных трудов. В следующий год, перечитывая во второй раз сочинение Гельвеция «О разуме», я была поражена мыслью, о которой упоминаю здесь потому, что она оправдалась перед судом более зрелого моего размышления. Вот это мнение: если бы только произведение Гельвеция не сопровождалось вторым томом, где развивается теория, более отвечающая принятым мне-

ниям и существующему порядку вещей, то его учение в последних своих результатах расстроило бы гармонию и связи образованных обществ.

Политика с самых ранних лет особенно интересовала меня¹.

Все иностранцы, артисты, литераторы и посланники, посещавшие дом моего дяди, подвергались пытке от моей неутомимой любознательности. Я расспрашивала их о чужих краях, о формах правления и законах; и сравнения, выводимые из ответов, пробудили во мне горячее желание путешествовать. Но в это время у меня не доставало духу пуститься в такое предприятие. Между тем мрачные предчувствия скорби и горя, обыкновенные спутники нежных темпераментов, рисовали передо мной все мое будущее, и я содрогалась при созерцании тех зол, с которыми не в силах была бы бороться. Шувалов, любовник Елизаветы, желавший прослыть меценатом своего времени, узнав, что я страстно люблю читать книги, предложил мне пользоваться всеми литературными новинками, которые постоянно высылались ему из Франции. Это одолжение было источником бесконечной радости для меня, особенно когда я на следующий год после своего замужества поселилась в Москве; в здешних книжных лавках было не многим больше того, что я уже перечитала, и некоторые из этих сочинений имела в своей собственной библиотеке, состоявшей почти из 900 томов; я употребила на эту коллекцию все свои карманные деньги. Энциклопедия и словарь Мореры были приобретены в том же году; никогда никакие самые изящные и ценные игрушки не доставляли мне и половины того удовольствия, которое я чувствовала при этом приобретении. Любовь моя к брату Александру во время его путешествия дала мне случай завести с ним правильную переписку. Каждый месяц два раза я уведомляла его обо всех новостях придворных, городских и военных; этой корреспонденции я обязана образованием своего слога, хотя и не могу судить о его достоинствах.

В продолжение июля и августа 1759 года, когда мои дядя, тетка и двоюродный брат посетили государыню в Царском Селе, я осталась одна в городе, потому что не совсем хорошо себя чувствовала, притом мои литературные занятия и уединение все больше и больше нравились мне. За исключением итальянской оперы, которую я слушала один или два раза, никогда не показывалась в свете; из частных домов я посещала семейство князя Голицына, где любили меня и жена, и муж – очень умный и уважаемый старик; потом я бывала у Самариной, супруги одного из домашних чиновников моего дяди. Однажды вечером Самарина пригласила меня к себе; она была нездорова. Я осталась у нее ужинать и потому отпустила свою карету, с тем чтобы к одиннадцати часам она воротилась и привезла мне горничную девушку проводить меня домой. Был чудесный летний вечер, когда карета приехала за мной, и так как улица, где жила Самарина, была спокойная, то ее сестра предложила проводить меня пешком до конца этой улицы; я охотно согласилась и приказала кучеру подождать меня там. Едва мы прошли несколько шагов, как перед нами очутилась высокая

¹ Княгиня рассказывала мне, что еще в детстве она иногда получала позволение от своего доброго дяди пересмотреть старые дипломатические бумаги, и это доставляло ей величайшее удовольствие. А в этом хламе было много очень любопытных документов, из которых два особенно резко запечатлелись в ее памяти, сильнее других затронув детское воображение. Первый документ – письмо от персидского шаха к Екатерине I по случаю ее восшествия на престол. После обычных приветствий шах выражался почти так: «Я надеюсь, моя благоволюбленная сестра, что Бог не одарил тебя любовью к крепким напиткам; я, который пишу тебе, имею глаза, подобные рубинам, нос, похожий на карбункул, и огнем пылающие щеки; и всем этим обязан несчастной привычке, от которой я и день и ночь валяюсь на своей бедной постели». Известная склонность императрицы попивать водку сообщает этому письму особенный интерес. Другой документ открывает следующий факт, и я передаю его собственными ее словами. Русский двор однажды (я забыла, в чье царствование) послал посольство в Китай поздравить его монарха с принятием короны; посланник, принятый не совсем ласково, поспешил возвратиться домой, недовольный своей миссией. Русское правительство, заблагорассудив не сознаваться в китайском неуважении к своей политике, отправило других – поблагодарить за лестный прием первого посла и заключить торговый трактат. Вот какой ответ был дан китайским владыкой: «Вы очень странный народ; чванитесь приемом ваших послов. Разве вы не слышали, что когда мы проезжаем верхом по улицам, то предупреждаем последнего бродягу не смотреть на нас». (Примечание мисс Уильмот.)

фигура, вынырнувшая из другой улицы; воображение мое под влиянием лунного света превратило это явление во что-то колоссальное. Я испугалась и спросила свою спутницу, что это значит. И в первый раз в моей жизни услышала имя князя Дашкова. Он, по-видимому, очень коротко был знаком с семейством Самариной; между нами завязался разговор. Незнакомый князь случайно заговорил со мной, и его вежливый и скромный тон расположили меня в его пользу. В этой нечаянной встрече и взаимном более чем благоприятном нашем впечатлении я видела особые следы провидения, предназначившего нас друг другу. Знакомство, заведенное так оригинально, было трудно поддержать; и будь оно иначе и если бы его имя было когда-нибудь упомянуто в доме моего дяди (вероятно, по одному делу, в котором он был неудачно замешан), во мне образовалось бы предубеждение против нашего союза. При таких обстоятельствах наша неизвестность была общим нашим другом и положила основание постепенно возраставшей любви. Князь скоро почувствовал, что его счастье зависит от нашего соединения, и, как только получил мое согласие, немедленно попросил князя Голицына хлопотать за него у моего дяди и отца, но в то же время хранить тайну до тех пор, пока он не получит благословения от своей матери, жившей в Москве.



Князь Михаил (Кондрат) Иванович Дашков (1736–1764) – русский дипломат из рода Дашковых, известный главным образом как муж графини Екатерины Романовны Воронцовой

Со стороны моих родственников не было никакого возражения, и его мать, которая давно желала видеть его женатым, когда не успела соединить его с девушкой по своему собственному выбору, душевно одобрила его планы и согласилась на наш брак.

Одним вечером, незадолго до отъезда моего жениха в Москву к своей матери, Елизавета заехала к нам ужинать из итальянской оперы; ее провожали только мой дядя и Шувалов. По ее предварительному желанию, я на этот раз осталась дома, и князь Дашков находился со мной. Внимание государыни к нам было очень обязательное; в продолжение этого вечера, отозвав нас в другую комнату, она необыкновенно ласково, как крестная мать, сказала нам, что наша тайна ей известна и что она желает нам полного счастья. Она с похвалой отзывав-

лась об уважении князя к его матери и, отпустив нас в общество, сказала ему, что фельдмаршалу Бутурлину приказано уволить его в Москву. Доброта, нежное расположение и участие государыни в нашей судьбе так глубоко тронули меня, что я не могла скрыть своего волнения. Императрица, заметив это, легонько ударила меня по плечу и, поцеловав в щеку, промолвила: «Оправься, мое милое дитя, иначе ваши друзья подумают, что я выбрала тебя». Никогда я не забуду этой сцены, которая навсегда привязала меня к этой добросердечной государыне.

Зимой также посетил и ужинал у нас великий князь, будущий потом Петр III, с его супругой, впоследствии Екатериной II. Благодаря многим посетителям моего дяди я уже была известна великой княгине как молодая девушка, которая проводит почти все свое время за учением, причем, разумеется, было прибавлено много и других лестных отзывов. Уважение, которым она впоследствии почтила меня, было результатом этой дружеской предупредительности; я отвечала на него с полным энтузиазмом и преданностью, которая потом бросила меня в такую непредвиденную сферу и имела большее или меньшее влияние на всю мою жизнь. В ту эпоху, о которой я говорю, наверное, можно сказать, что в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине и мне, серьезно занимались чтением; отсюда, между прочим, родилась наша взаимная привязанность, и так как великая княгиня обладала неотразимой прелестью, когда она хотела понравиться, легко представить, как она должна была увлечь меня, пятнадцатилетнее и необыкновенно впечатлительное существо.

В продолжение этого памятного для меня вечера великая княгиня говорила почти исключительно со мной и очаровала меня своей беседой. По высокому тону ее чувств и степени образования нетрудно было заметить женщину редких дарований, той счастливой природы, которая превзошла самые смелые мои мечты. Вечер прошел быстро, но впечатление от него сохранилось навсегда и отразилось в ряде тех событий, о которых я расскажу после.

Когда Дашков возвратился из Москвы, он, не теряя ни минуты, представился всему нашему семейству; но по причине болезни моей тетки свадьба была отложена до февраля. Едва она немного оправилась, нас обвенчали в самом искреннем кругу близких людей; и, когда тетка совершенно выздоровела, мы уехали в Москву.

Здесь новый мир открылся передо мной, новые связи, новые обстоятельства. Я говорила по-русски очень дурно, а свекровь моя, на беду, не говорила ни на одном иностранном языке. Родственники моего мужа были большей частью людьми старого покроя, и, хотя они любили меня, я, однако же, заметила, что, будь я больше москвитянкой, я нравилась бы им еще больше. Поэтому я ревностно стала изучать отечественный язык и так быстро успевала, что заслужила всеобщие рукоплескания со стороны моих родственников; я искренне уважала их и тем приобрела их дружбу, которая не изменилась даже после смерти моего мужа.

Глава II

Через год после моего замужества, 21 февраля, у меня родилась дочь, а в мае мы провозжали свою свекровь в ее имение – Троицкое. Книги и музыка были нашим неизменным удовольствием; с помощью их время проходило легко. В июле князь Дашков и я отправились в его орловское поместье и отсюда возвратились в Москву; когда его отпуск кончился, мы написали моему отцу в Петербург, прося его похлопотать о новой отсрочке.

Императрица Елизавета постарела и ослабела; куртизаны начали увиваться около наследника. Это обстоятельство дало великому князю более безусловный контроль над Преображенским полком, которым он командовал и в котором князь Дашков служил вторым капитаном. Поэтому просьба его об увольнении еще на пять месяцев была представлена Петру; беспокойство князя по случаю моей второй беременности заставило его требовать новой отсрочки. Наследник, прежде чем дал позволение, пожелал видеть Дашкова в Петербурге – может быть, чтоб выразить ему свою особенную милость, как предполагал мой отец, он советовал зятю немедленно ехать. Я безутешно грустила при этой разлуке – мне было так тяжело подумать о ней, что я перестала наслаждаться своим обычным счастьем даже в присутствии мужа. Здоровье мое стало плохим, и 8 января, когда князь оставил Москву, я заболела лихорадкой, сопровождаемой припадками горячки. Это было следствием сильного нервного раздражения; но я скоро выздоровела, и это зависело, по моему мнению, от того, что я не хотела принимать лекарств. Через несколько дней я чувствовала только небольшую слабость. Часто я плакала, и, если бы не боялась наскучить мужу постоянными повторениями о своей печали, я писала бы ему непрерывно; но милое внимание его младшей сестры к моему здоровью избавило меня от этой опасной жертвы.

Коснувшись этих чувств и страданий, я должна заметить, что мне еще не было полных семнадцати лет и я в первый раз расставалась с мужем, которого пламенно любила.

Великий князь принял Дашкова очень благосклонно. Он участвовал в зимних прогулках Петра в Ораниенбаум; к сожалению, эти разъезды в жестокие холода подвергли моего мужа опасной простуде, последствия которой могли быть роковыми. Когда наступило время возвратиться в Москву, он был еще болен; не желая, однако, разочаровывать наших тревожных ожиданий, он покинул Петербург и скакал день и ночь, не выходя из кареты до самой Москвы. Подъезжая к городской заставе, он опять почувствовал сильное воспаление в горле; боясь испугать нас своим появлением в таком болезненном состоянии и будучи не в силах произнести ни одного слова, он кое-как добрался до дома своей тетки, Новосильцевой, в надежде сколько-нибудь оправиться у нее. Тетка, увидев больного племянника, немедленно уложила его в постель. Явился доктор; он советовал не выпускать пациента из комнаты; поэтому тетка приказала задержать лошадей с той целью, чтобы на следующее утро, если князю будет лучше, отпустить его в дом матери, как будто с ним ничего особенного не случилось. В это самое время у нас происходила другая сцена, о которой я доселе не могу вспомнить без содрогания.

Свекровь моя и сестра ее, княгиня Гагарина, помогавшая мне при первых родах, каждый вечер собирались вместе с акушеркой в моей комнате и с часу на час ожидали моего разрешения; при мне служила одна горничная, глупая девчонка моих лет. Когда я вышла из комнаты, она воспользовалась этим моментом и скороговоркой сообщила мне о приезде князя Дашкова в Москву. Я вскрикнула; к счастью, этого не слышали в соседней комнате. Между тем ветреная служанка продолжала рассказывать мне, что он находится в доме тетки и что дано строгое приказание молчать об этом.

Чтобы представить мои муки в эту минуту, не надо забывать, что для меня разлука с молодым мужем была верхом несчастья, тем более что я легко увлекалась всем и с трудом

могла управлять своим чувством, живым и пылким от природы, как я уже об этом сказала. Впрочем, я употребила все усилия, чтобы успокоиться, и вошла в свою комнату с самым хладнокровным видом; уверив княгиню, что минута моего разрешения должна последовать позже, чем мы думали, я уговорила ее вместе с теткой удалиться в свои покои отдохнуть, причем торжественно обещала позвать их в случае крайней надобности.

Затем я побежала к бабке и умоляла ее именем неба проводить меня. Я и теперь не могу забыть этих кровью налитых глаз, этого дикого взгляда, которым она окинула меня. Старуха вполне была убеждена, что я спятила с ума, и на ее природном силезском наречии начала бесконечное увещание: «Нет, я не хочу отвечать перед Богом за убийство невинных». Не один раз я останавливала ее; наконец, отчаявшись склонить, я сказала решительно, что если только не увижу князя своими собственными глазами, то не переживу своих сомнений о его несчастье, и если она не согласится проводить меня к тетке, никакая сила не удержит меня и я решаюсь идти одна. После всего этого старуха сдалась; но, когда я предложила ей идти пешком, чтобы не возбудить подозрения шумом саней и лошадей, она снова оторопела; я представила ей всю опасность и ужас в случае открытия нашего предприятия и тем окончательно убедила ее. Бабка уступила и при помощи одного старика, жившего в доме и читавшего молитвы моей свекрови, свела меня с лестницы. Но едва мы переступили несколько ступеней, как боли мои усилились; провожатые, перепугавшись, старались увести меня назад. Теперь я, в свою очередь, была непреклонна и ухватилась за перила так, что ни сила, ни угроза не могли оторвать меня.

Наконец, с трудом мы сошли с лестницы и после новых мучительных припадков добрались до дома тетки.

Не знаю, как я поднялась по высокой лестнице, которая вела в комнаты моего мужа. Одно помню: когда при входе я увидела его бледным и лежавшим на постели, я грохнулась без чувства на пол и в этом положении была принесена домой на носилках лакеями Новосильцевой. К счастью, это похождение осталось тайной для моей свекрови. Затем начались страдания родов; они привели меня в чувство. Было одиннадцать часов ночи; я послала за теткой и свекровью и через час родила сына Михаила. Первым моим побуждением было известить князя о благополучном исходе; незаметно для других я прошептала горничной приказание отправить доброго старика с этой радостной новостью.

Впоследствии я часто вздрагивала при воспоминании об этом вечере и той сцене, которую Дашков передал после. Когда я показалась со своей разнохарактерной свитой в его комнате, принял меня за сновидение, но оно скоро исчезло, и глазам его представилась действительность, он увидел меня упавшей на пол. Обеспокоенный опасностью моего положения, негодующий по поводу открытия тайны, он вскочил с постели и хотел следовать за мной домой; но тетка его, поднятая на ноги тревогой всего дома, немедленно явилась и со слезами на глазах заклинала его пожалеть свою жизнь и послушаться ее совета. Состояние его было ужасно до той минуты, пока не известили его о моем спасении; тогда он перешел от необузданного горя к необузданной радости. Спрыгнув с постели, он обнял моего посла, облобызал его с восторгом, танцует и плачет попеременно; князь бросил старику кошелек с золотом и приказал послать попа немедленно служить благодарственный молебен, на котором хотел сам присутствовать; одним словом, во всем доме был торжественный праздник. Все было тихо до шести часов утра, это был обыкновенный час княгининой молитвы, и вдруг почтовые лошади подкатили с Дашковым к нашим дверям. Его мать, к несчастью, не выходила; услышав стук экипажа, она бросилась встретить сына на лестнице. Бледное лицо и обвязанное горло тотчас обличили его состояние, и если бы он не заключил ее в своих объятиях, то произошла бы другая трагическая сцена. Мы так страстно любили его, что эта самая любовь могла быть источником домашнего несчастья: на этот раз так именно и случилось. В замешательстве он провел свою мать вместо ее комнаты в мою, и наше свидание

показалось ей вовсе не таким восторженным, как следовало ожидать. Успокоившись, она приказала сделать постель для своего сына в комнате, смежной с моей, и, опасаясь за мое здоровье, запретила говорить нам между собой. Эта предосторожность, конечно благоразумная, не нравилась мне: я хотела быть его кормилицей и ежеминутно, собственным своим глазом, следить за постепенным его выздоровлением – любовь находчива, и я придумала средства для наших взаимных сношений. Каждым моментом, свободным от постороннего наблюдения, мы пользовались для коротенькой переписки, полной той нежности, которую более холодные умы могли бы счесть за детскую глупость, хотя я искренне пожалела бы о бездушности этих критиков.

Сорок грустных лет, которые я имела несчастье пережить после своего обожаемого супруга, прошло со времени его потери, и ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминание о самом мелком обстоятельстве из лучших дней моей жизни. Гонцом для нашей секретной корреспонденции мы употребили старую сиделку, обязанность которой состояла в том, чтобы быть по ночам у моей постели. Полусонная, едва держась на ногах, она ковляла из одной комнаты в другую. По прошествии трех дней наш Меркурий, вероятно из жалости к моим глазам, обратился в доносчика: тайна была выдана нашей матери, которая прочла нам приличное наставление и грозила спрятать чернила и бумагу. К счастью, мой муж скоро оправился и получил позволение сидеть у моего изголовья, пока я выздоравливала. Мы отменили нашу поездку в деревню, потому что думали скоро отправиться в Петербург. Назначенный для выезда день много раз откладывался из уважения к настоятельным просьбам его матери. Наконец, мы поднялись и прибыли в Петербург 28 июня – день, которому суждено было через двенадцать месяцев сделаться замечательным и славным днем для моего Отечества.

Это путешествие было для меня величайшим наслаждением. Я желала увидеть своих родных, образ жизни которых вполне отвечал моим наклонностям и был так отличен от всего того, что окружало меня в Москве. В особенности мне приятно было посетить моего дядю, где образованное и истинно светское общество было предметом моего удивления, а великолепная обстановка его дома, украшенного в европейском вкусе, давала ему полное право называться княжеской палатой. Когда мы въехали в город, каждый предмет доставлял мне новое удовольствие. Петербург никогда не казался мне так хорош, мил и роскошен. Все было одушевлено жизнью моей собственной мысли; инстинктивно опустив окно кареты, я надеялась встретить в каждом мимо проходящем друга или родственника и на всех смотрела глазами старого знакомого. Мной овладел лихорадочный восторг, прежде чем мы подъехали к воротам. Устроив комнату для своей дочери по соседству с собой, я поспешила увидеть отца и дядю, совершенно забыв, что они жили на дачах. На следующий день нас навещил отец и сообщил нам новое придворное распоряжение, по которому офицеры гвардейского Преображенского полка, приглашенные великим князем в Ораниенбаум, должны были явиться туда с их женами; мы были поименованы в числе гостей. Это приглашение было для меня очень неприятным; я не любила стеснения дворцовой жизни, притом мне жалко было расставаться со своей малюткой. Впрочем, отец помог моему горю: он предложил нам свой загородный дом между Ораниенбаумом и Петербургом, и мы очень удобно расположились в нем.



Китайский дворец является частью дворцово-паркового комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II. Возведенный в 1762–1768 годах по проекту Антонио Ринальди. Название «Китайский дворец», возникшее в 1774 году, возникло вследствие того, что в декоре дворца было использовано много оригинальных произведений китайского искусства

На другой день мы отправились с визитом во дворец. Наследник, как только мы представились ему, обратился ко мне, насколько я могу помнить, со следующей речью: «Хотя вы и не хотели жить в моем дворце, но я надеюсь видеть вас каждый день и думаю, что вы уделите мне больше вашего времени, чем обществу великой княгини». Я ничего особенного не сказала на это, но решила бывать здесь только в самых крайних случаях, чтобы не подать повода к неудовольствию. Это самопожертвование было неизбежным, чтобы видеться с Екатериной и поддерживать ее дружеское расположение, в котором я каждый день все больше и больше убеждалась. Отчуждение мое от партии Петра и решительное предпочтение его супруге было замечено, и он скоро дал мне это почувствовать. Однажды, отозвав меня в сторону, он удивил меня своим замечанием, вполне достойным его нехитрой головы и простого сердца. Выражение этого замечания так далеко было по духу своему от его обыкновенного разговора, что я долго не переставала изумляться, пока не открыла то лицо, которое на этот раз правило его мозгом. «Дитя мое, – сказал он, – вам бы не мешало помнить, что водить хлеб-соль с честными дураками, подобными вашей сестре и мне, гораздо безопаснее, чем с теми великими умниками, которые выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги». Я ничего не поняла из этого намека и с полной наивностью ответила ему, что тетка его, императрица, совсем иначе выражала свои желания – она советовала платить дань равного почтения как великому князю, так и великой княгине. Здесь я не могу не отдать справедливости моей сестре Елизавете, которая хорошо знала различие наших характеров и не требовала от меня того раболепного внимания к себе, на какое она получила право по своему положению от остальной придворной толпы. Между тем я увидела, что всегда избегать общественного круга наследника было невозможно. Это общество иногда принимало вид казармы, где табачный дым и его голштинские генералы были любимым развлечением Петра. Эти офицеры были большей частью капралы и сержанты прусской армии, истинные

дети немецких сапожников, самый нижний осадок народных слоев; и эта сволочь нищих генералов была по плечу такому государю! Вечера обыкновенно оканчивались ужинами, пирами в зале, увешанной сосновыми ветвями и носившей немецкое название, свойственное вкусу подобных украшений и модной фразеологии этого общества; разговор происходил на таком диком полунемецком языке, что некоторое знание его было совершенно необходимо тому, кто не хотел сделаться посмешищем в этой августейшей сходке.

Иногда великий князь переносил свои праздники в загородный домик недалеко от Ораниенбаума, где по причине тесноты покоев могло собираться небольшое общество; здесь скучные вечера сокращались пуншем и чаем, в облаках табачного дыма, за чудовищной игрой в *Samris*. Какой разительный контраст во всем этом был с умным, изящным и благопристойным обществом великой княгини! Под влиянием такой прелести я не могла ни на одну минуту колебаться в выборе своей партии; и если я видела со стороны Екатерины постоянно возраставшее расположение к нам, то ясно было и то, что искреннее меня и моего мужа никто не был ей предан.

Государыня жила в Петергофе, где ей было позволено один раз в неделю видеть своего сына Павла. На обратном пути отсюда она обыкновенно заезжала к нам и увозила меня с собой проводить вместе остаток вечера. Я получала от нее записки, если нам что-нибудь мешало видиться лично; и таким образом между нами завязалась искренняя и откровенная переписка, которая продолжалась и после, а за ее отсутствием одушевляла и скрепляла мою задушевную привязанность к Екатерине; выше этой привязанности была лишь любовь к мужу и детям.

В одно из собраний, данных великим князем во дворце, где присутствовала и Екатерина, сидевшая на конце стола, разговор перешел на Челищева, гвардейского юнкера, которого подозревали в любовных связях с графиней Гендриковой, племянницей Петра. Наследник, чрез меру воодушевленный винными парами, в духе настоящего прусского капрала поклялся, что он в пример другим офицерам прикажет казнить того за эту дерзкую любовь с царской родственницей. Пока его голштинские паразиты выражали мимикой глубокое уважение к великокняжеской мудрости, я не могла удержаться от замечания, что рубить голову слишком жестоко, что, если бы и было доказано подозрение, во всяком случае такое ужасное наказание превышает меру преступления. «Вы совершенное дитя, – сказал он, – как это видно из ваших слов; иначе вы знали бы, что отменить смертную казнь – значит разнуздать всякую непокорность и всевозможные беспорядки». – «Но, государь, – продолжала я, – вы говорите о таком предмете и таким тоном, что все это должно сильно обеспокоить настоящее собрание; за исключением этих почтенных генералов, почти все, имеющие честь сидеть за вашим столом, жили в то царствование, в которое не было и помину о смертной казни». – «Ну что ж, – возразил великий князь, – это еще ничего не доказывает, или, лучше, потому-то именно у нас нет ни порядка, ни дисциплины; но я повторяю, что вы дитя и ничего не смыслите в этом деле». Затем глубокое молчание, и беседа, если только можно назвать ее беседой, осталась за мной и Петром. «Положим, государь, что вы правы; но нельзя же отрицать и того обстоятельства, что ваша венценосная тетка еще живет и царствует». Взоры всех мгновенно обратились на меня; великий князь, к моему счастью, замолчал, только высунув язык, который он обыкновенно показывал попам в церкви ради собственного развлечения и когда был вообще не в духе; это заставило меня сдерживать дальнейшие возражения. Так как это происходило в присутствии многих гвардейских офицеров и корпусных кадетов, которыми управлял великий князь, то на другой день этот разговор молнией разнесся по Петербургу и приобрел мне огромную популярность, которой я, впрочем, не дорожила. Лестный отзыв великой княгини о моем споре с Петром утешил меня, но я в это время еще не понимала всей опасности говорить истину царям. Согласимся, что они сами, может быть, и простили бы это преступление, но его никогда не простят их куртизаны! Как бы то ни было, но это ничтожное

обстоятельство и еще несколько смелых поступков принесли мне в общественном мнении репутацию отважного и твердого характера; тому же я обязана доверием и энтузиазмом, с которым друзья Дашкова, гвардейские офицеры, стали с этой минуты смотреть на меня.

Между тем, здоровье императрицы быстро разрушалось; не надеялись, что она может пережить эту зиму. Я разделяла прискорбие, которое чувствовали многие из моих домашних и в особенности канцлер, не потому только, что любила государыню, но я также ясно видела, чего должна была ожидать Россия от наследника – человека, погруженного в самое темное невежество, не заботящегося о счастье его народа, готового управлять с одним желанием – подражать прусскому королю, которого он величал в кругу своих голштинских товарищей не иначе как «король, мой господин».

Около середины декабря было объявлено, что Елизавета не проживет нескольких дней. Я в это время занемогла и лежала в постели, но, опасаясь за участь великой княгини в случае перемены царствования решила действовать. 20 декабря, в полночь, я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина и прочие члены царской семьи. Выйдя из кареты на некотором расстоянии от дворца, я прошла пешком к заднему крыльцу, чтоб невидимкой юркнуть в комнаты великой княгини. К моему величайшему счастью, которое, может быть, спасло меня от роковой ошибки в неизвестном доме, я встретила первую горничную, Катерину Ивановну. Так как она знала меня, я попросила немедленно проводить меня в комнаты великой княгини. «Она в постели», – сказала старушка. «Ничего, – отвечала я, – мне непременно надобно говорить с ней сейчас же». Служанка, которой была известна моя преданность ее госпоже, несмотря на неурочный час, не противилась больше и провела меня в спальню. Екатерина знала, что я больна, а потому не в состоянии выходить в такой холод и притом ночью, да еще во дворец; она едва поверила, когда доложили обо мне. «Ради Бога, – закричала она, – если это действительно Дашкова, ведите ее ко мне немедленно!» Я нашла ее в постели и не успела еще раскрыть рот, как она сказала: «Милая княгиня, прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь; вы решительно пренебрегаете своим здоровьем, которое так дорого мне и Дашкову». Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. «При настоящем порядке вещей, – сказала я, – когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас с новым событием. Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над вашей головой? Во имя неба, доверьтесь мне; я оправдаю ваше доверие и докажу вам, что я более чем достойна ее. Есть ли у вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для вашего спасения? Благоволите ли вы дать приказания и уполномочить меня распоряжением?»

Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу: «Я искренно, невыразимо благодарю вас, моя любезная княгиня, и с полной откровенностью объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь и в одно верю: что бы ни случилось, я все вынесу великодушно. Поэтому поручаю себя провидению и только на его помощь надеюсь». – «В таком случае, – сказала я, – ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя: и на какую жертву я не способна для вас?» – «Именем Бога умоляю вас, княгиня, – продолжала Екатерина, – не подвергайте себя опасности в надежде остановить непоправимое зло. Если вы из-за меня потерпите несчастье, я вечно буду жалеть». – «Все, что я могу в настоящую минуту сказать: верьте, что я не сделаю ни одного шага, который бы повредил вам; как бы ни была велика опасность, она вся упадет на меня. Если бы моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой». Великая княгиня, вероятно, продолжала бы и упрекнула меня в неопытности и юношеском энтузиазме, но я, прервав, поцеловала ее руку и уверила, что нет надобности далее рисковать продолжением этого свидания. Тогда она горячо обняла

меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг у друга; наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила сесть в карету.

По приезде домой я нашла князя, только что возвратившегося и до крайности изумленного отсутствием своего инвалида. Но когда я сообщила ему свою решимость помочь России спасением великой княгини, он одобрил и рукоплескал моей энергии, дружеской преданности, попросив только не подвергать мое здоровье опасности. Он провел этот вечер у моего отца; из их разговора, переданного мне Дашковым, при всей скромности моего отца ясно было видно общее беспокойство по случаю близкой перемены. Я была так довольна этим известием, что забыла и об усталости, и о болезни, и о той опасности, которой подвергала себя.

Глава III

Декабря 25-го, в самый день Рождества, императрица Елизавета скончалась. Несмотря на обычное торжество праздника, Петербург встретил это событие печально; на каждом лице отразилось чувство уныния. Впрочем, некоторые уверяют, что гвардия совсем иначе чувствовала; она весело шла во дворец присягать новому государю. Два гвардейских полка, Семеновский и Измайловский, проходили под моими окнами: насколько я могла заметить, в движении их не было видно ни особенной торопливости, ни восторга – это мог подтвердить и любой житель города. Напротив, вид солдат был угрюмый и несамодовольный; по рядам пробегал глухой, сдавленный ропот: если бы мне была неизвестна причина этой суматохи, я ни одну минуту не сомневалась бы в том, что императрица умерла.

Я еще не выходила из комнат, а дядя мой, канцлер, лежал больной в постели. Между тем, к крайнему нашему удивлению, на третий день своего восшествия на престол император посетил моего дядю, а ко мне прислал посла, желая видеть меня вечером во дворце. Я извинилась под предлогом нездоровья, как и на следующий день, когда приглашение повторилось. Спустя два или три дня сестра уведомила меня, что государь сердится на мои отказы и не хочет верить в искренность их предлогов. Чтобы избежать неприятных объяснений и выговоров, которые могли повредить моему мужу, я покорилась и, навестив своего отца и дядю, поехала во дворец. Императрица, о которой я слышала только от камердинера, никого не принимала. Пораженная настоящим горем, она уединилась в своих покоях и покидала их только для исполнения религиозного долга над телом умершей государыни.

Как только я появилась на глаза императора, он стал говорить со мной о предмете, близком его сердцу, и в таких выражениях, что нельзя было больше сомневаться насчет будущего положения Екатерины. Он говорил шепотом, полунамеками, но ясно, что он намерен был лишиться ее трона и возвести на ее место Романовну, то есть мою сестру. Таким образом объяснившись со мной, он дал мне несколько полезных уроков. «Если вы, дружок мой, – сказал Петр III, – послушаетесь моего совета, то дорожите нами немного побольше. Придет время, когда вы раскаетесь за всякое невнимание, оказанное вашей сестре. Поверьте мне, я говорю ради вашей же пользы; вы не можете иначе устроить вашу карьеру в свете, как изучая желанья и стараясь снискать расположение и покровительство ее».

В эту минуту невозможно было ничего дельного сказать, и я притворилась, будто не поняла его, и поспешила сесть с ним за игру в *Самрис*. В этой игре каждый имеет несколько жизней: кто переживет, тот и выигрывает. На каждый очок ставилось десять червонцев, сумма слишком щедрая для моего кошелька, особенно когда император проигрывал: он, вместо того чтобы отдать свою жизнь, согласно с правилами игры, вынимал из кармана имперриал, бросал его в пульку и с помощью этой уловки всегда оставался в выигрыше. Одна партия кончилась, государь предложил другую, я отказалась. Он настаивал, я не соглашалась; тогда он предложил держать половину ставки против него; я и этого не хотела. Наконец тоном рассерженного ребенка (он считал меня не выше того) я решительно сказала, что не так богата, чтобы поддаваться обману: если бы государь играл подобно другим, тогда еще можно было бы попробовать. Император добродушно проглотил мое резкое выражение и отделался обычным своим шутовством; после этого я ушла. Обыкновенно участниками картежных вечеров Петра III были двое Нарышкиных с их женами, Измайлов с супругой, Елизавета Дашкова, Мельгунов, Гудович и Анжерн, первый флигель-адъютант государя, графиня Брюс и еще два-три имени, забытые мной. Все с удивлением взглянули на меня и, когда я вырвалась из их круга, они, подобно голштинским генералам в Ораниенбауме, в один голос произнесли: «Это бес, а не женщина!»

Мне надо было проходить ряд комнат, где толпились другие придворные. Я заметила странную перемену в костюмах, это был настоящий маскарад. Трудно было не улыбнуться, когда я увидела князя Трубецкого, старика, по крайней мере семидесяти лет, вдруг принявшего воинственный вид и в первый раз в жизни затянутого в полный мундир, перевязанного галунами подобно барабану, обутого в ботфорты со шпорами, как будто он готовился сейчас вступить в отчаянный бой. Этот несчастный придворный адепт, подобно уличным бродягам, притворялся хилым, убогим, теперь же ради какого-то личного расчета прикинулся страдающим подагрой, с толстыми, заплывшими ногами. Но едва объявили, что идет император, он шариком вскочил с кушетки, вооруженный с ног до головы, и немедленно встал в ряд измайловцев, к которым он был назначен лейтенант-полковником и наскучил всем своими приказаниями. Это страшное привидение было некогда храбрым воином – обломком петровской эпохи!



Петр III Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих, нем. Karl Peter Ulrich) – (1728–1762) – российский император в 1762, первый представитель Гольштейн-Готторп-Романовской династии на российском престоле. С 1745 года – владетельный герцог Гольштейн-Готторпский. Внук Петра I – сын его дочери Анны. Художник – Л. К. Пфанцельт. Коронационный портрет императора Петра III Федоровича. 1761 г.

Когда происходило шутовство при дворе нового императора, обычные почести у гроба покойной государыни шли своим чередом. Тело ее стояло шесть недель; около него попеременно дежурили статс-дамы. Императрица, как из-за чувства искреннего уважения к памяти своей тетки и благодетельницы, так и желая возбудить к себе внимание со стороны общества,

навещала прах Елизаветы каждый день. Иначе вел себя Петр III. Он редко заходил в похоронную комнату, а если и бывал, то как будто для того, чтобы показать всю свою пустоту и презрение к собственному достоинству. Он шептался и смеялся с дежурными дамами, передразнивал попов и замечал недостатки в дисциплине офицеров и даже простых часовых, недостатки в одежде, в повязке галстуков, в объеме буклей и в покрое мундиров. Между иностранными министрами, находившимися в то время в Петербурге, очень немногие пользовались авторитетом при дворе, немногие также питали и расположение к императору. За исключением прусского, один английский посланник Кейт был в милости у Петра III. Князь Дашков и я были на самой короткой ноге с этим почтенным старым джентльменом; он так нежно любил меня, словно я в самом деле была его дочерью, – так он обыкновенно называл меня. Однажды, находясь в его доме, где были только мы и княгиня Голицына, Кейт, заговорив об императоре, заметил, что тот начал свое царствование оскорблением народа и, вероятно, кончит его общим презрением к себе.

Между тем государь пожелал ужинать у моего дяди, что было крайне неприятно старику, потому что он едва мог вставать с постели. Сестра моя, графиня Бутурлина, князь Дашков и я хотели присутствовать за столом. Император приехал около семи часов и просидел в комнате больного канцлера до самого ужина, от которого тот был уволен. Елизавета Дашкова, графиня Строганова и я, чтобы почтить ужин почетного гостя, стояли за стулом или, лучше сказать, бегали по комнате, что было совершенно по вкусу Петру III, небольшому любителю церемоний. Мне случилось стоять за креслом государя в то время, когда он разговаривал с австрийским посланником, графом Мери. Речь шла о том, как он некогда был послан своим отцом (в то время Петр еще жил в Голштинии, в Киле) в поход против богемцев, которых он с одним отрядом карабинеров и пехоты немедленно обратил в бегство. Во время этого рассказа австрийский посланник, как я заметила, часто краснел и видимо смешался, не зная, как понимать государя: что тот разумеет под именем богемцев – блуждающих цыган, живущих воровством и пророчеством, или подданных его королевы? Это замешательство могло быть тем серьезнее, что недавно было приказано вывести русские войска из Австрии, – приказание, очевидно, вовсе не миролюбивого характера. Я наклонилась к императору и тихо по-русски попросила его не рассказывать таких историй иностранным министрам, потому что, сказала я, если бы в Киль зашли кочующие цыгане, отец его, верно, приказал бы выгнать их, а не великого князя, в это время еще ребенка. «Вы дурочка, – отвечал государь, обернувшись ко мне, – и любите перечить мне». Петр III, к моему счастью, пил вина вдоволь и позабыл мое возражение на его историю.

Однажды вечером я была во дворце. Государь к концу своего любимого разговора о прусском короле громко подозвал к себе Волкова и заставил его подтвердить, как они часто смеялись над тем, что секретные распоряжения Елизаветы, отдаваемые армии в Пруссию, оставались без действия. Это открытие очень изумило все общество, бывшее с государем. Дело в том, что Волков, главный секретарь верховного совета, в заговоре с великим князем постоянно парализовал силу этих распоряжений, передавая копии их прусскому королю; секретарь имел еще остатки совести, крайне смешался при таком объяснении и от каждого царского слова готов был свалиться со стула. Император, однако, не заметив общего изумления, с гордостью вспоминал о том, как он дружески служил явному врагу своей страны.

Среди новых придворных изменений французская мода заменила русский обычай низко кланяться, склонять голову в пояс. Попытки старых барынь пригибать колени, согласно с нововведением, были вообще очень неудачны и смешны. Император находил в этом особенное для себя удовольствие; чтобы посмеяться, он довольно регулярно ходил в придворную церковь к концу обедни и здесь имел случай дать полную волю хохоту, глядя на гримасы и ужимки приседающих дам. Старуха Бутурлина, свекровь моей сестры, принад-

лежала к числу этих мучениц; однажды, помнится мне, она чуть-чуть не хлопнулась на пол; но, к счастью, ее поддержал кто-то из добрых людей.

После всех этих сцен, описанных мной, легко вообразить, как государь заботился о своем сыне и его воспитании. Старший Панин, бывший наставником молодого князя, часто выражал желание, чтобы государь обратил внимание на успехи учения его питомца своим личным присутствием на экзамене, но император извинялся под тем наивным предлогом, что он «ничего не смыслит в этих вещах». Впрочем, вследствие усиленных просьб двух его дядей, принцев голштинских, он решил удовлетворить желание Панина, и великий князь был представлен ему. Когда испытание кончилось, государь громко сказал своим дядям: «Господа, говоря между нами, я думаю, что этот плутишка знает эти предметы лучше нас». Затем в знак одобрения он пожаловал того в капралы гвардии. Панин возражал против такой награды, убежденный, что она вскружит голову царевичу и даст ему повод думать, что он уже человек. Император, не сообразив этого на первый раз, согласился отменить свое распоряжение, но поспешил вознаградить наставника чином генерала от инфантерии.

Чтобы понять полностью то впечатление, которое произвела на Панина эта царская милость, надобно представить высокую бледно-болезненную фигуру, искавшую во всем удобства, жившую постоянно при дворе, чрезвычайно щепетильную в своей одежде, носившую роскошный парик с тремя распудренными и позади смотавшимися узлами, короче – образцовую фигуру, напоминавшую старого куртизана времен Людовика XIV. Капральский тон, составлявший преобладающий характер Петра III, был более всего ненавистен Панину. Поэтому, когда на следующий день Мельгунов объявил ему эту почесть, Панин решительно сказал, что если нет других средств избежать этой слишком высокой для него награды, он решается немедленно бежать в Швецию. Император с необычайным удивлением услышал о таком отказе. «Я всегда думал, – сказал он, – что Панин человек умный, но не говорите мне больше о нем». Впрочем, государь уступил и на этот раз своему неудачному выбору, помилив дело на том, что дал Панину право на все гражданские отличия, связанные с чином генерала от инфантерии.

Я должна упомянуть здесь о связи между князем Дашковым и Паниными. Двое из них были двоюродными братьями моей свекрови, то есть по законам русского родства дядями моего мужа. Хотя у нас это родство считается далеким, тем не менее его признают многие поколения; в настоящем случае оно скреплялось более прочными узами любви и благодарности. Старший брат, когда я еще была ребенком, служил при иностранных миссиях. Мое знакомство с ним незадолго до революции отнюдь не было коротким, но потом между нами возникла дружба, послужившая предлогом для клеветы моих врагов, которую не могла обезоружить даже всем известная пламенная любовь к моему мужу. Этот старый дядя прослыл моим любовником, а некоторые называли его даже моим отцом; многие, желая снять с меня первый позор, бросали тень на репутацию моей матери. Если бы Панин не оказал некоторых действительных услуг моему мужу и детям, я думаю, что после всех этих сплетен мне трудно было бы удержаться от ненависти к нему как к виновнику, хотя и невольному, этой черной клеветы. Говоря откровенно, я находила гораздо больше удовольствия в общении младшего Панина, генерала, солдатская откровенность и мужество характера которого совершенно согласовались с искренностью моей природы. Пока жива была его первая жена, которую я душевно любила, я видела в нем гораздо больше, чем министра... Но довольно о предмете, слишком тягостном для меня даже по сию пору.

Глава IV

В январе 1762 года случилось очень неприятное обстоятельство и очень важное для меня по своим последствиям. Одним утром во время гвардейского парада какой-то полк проходил ко дворцу. Император, заметив его неправильный марш и вообразив, что им командует князь Дашков, подбежал к нему и в духе грубого сержанта выругал за этот проступок. Дашков почтительно защищал себя, но, когда император снова стал обвинять его, он, естественно, разгоряченный и встревоженный последним выговором, где затрагивалась его честь, ответил так энергично и жестко, что Петр III немедленно дал ему отставку, по крайней мере так же поспешно, как и возвысил его.

Я сильно перепугалась, узнав об этом происшествии. Во всяком случае, оскорбление государя не могло пройти без наказания, особенно когда Петр III был окружен такими советниками, которые позаботились бы придумать более хладнокровный способ вредить служебным интересам, а может быть, и жизни моего мужа. Поэтому дилемма была такого рода, что князю надо было выбирать одно из зол: или остаться в Петербурге и идти против царского гнева и тем, разумеется, еще больше восстановить его против себя, или обречь себя на добровольное изгнание, пока какая-нибудь политическая перемена не даст делу другого направления либо пока не забудет царь. Друзья советовали решиться на последнее. Я со своей стороны, как ни велика была борьба с сердцем, не противоречила их мнению. Мой ум уже давно свыкся с представлением тех опасностей, которыми это царствование угрожало благу нашего Отечества. Доказательством этого беспокойства, между прочим, служило мое ночное посещение Екатерины. И хотя мои планы были чрезвычайно шатки, одна мысль преследовала мое воображение и воодушевляла какой-то вдохновенной верой, что революция недалека. Как бы ни было трудно и как бы ни верна была опасность, я решила идти вперед; благоразумие, любовь, интерес – все заставляло уступить сердцем разлуке с мужем. Дашков, успокоенный советами его друзей, изыскивал более благовидный предлог для своего удаления. В это время, как мне было известно, еще не все послы были назначены к иностранным дворам с известием о восшествии на престол Петра III. Я попросила великого канцлера хлопотать о назначении мужа в одну из соседних миссий. Просьба моя была немедленно исполнена, и Дашков, получив приказание ехать в Константинополь, тотчас же оставил Петербург. С каждой почтой я получала от него письма. Князь, путешествуя неспешно, остановился в Москве и проводил свою мать до Троицкого, лежавшего по дороге в Киев, где и находился еще в начале июля.

Император продолжал свою обычную жизнь и, казалось, гордился ненавистью к себе в народе. Когда был заключен мир с прусским королем, к которому его привязанность каждодневно выражалась каким-нибудь безумным поступком или смешным подражанием, восторг императора был выше меры; и, чтобы отпраздновать на славу это событие, он дал великолепный пир, на который были приглашены все чины первых трех разрядов и иностранные министры. Императрица сидела в середине стола, на своем обычном месте, а государь на другом конце, против прусского посланника. После обеда Петр III предложил тост при пушечной пальбе с крепости. Первый тост – «за здоровье императорской фамилии»; второй – «за здоровье прусского короля», третий – «за продолжение счастливо заключенного мира». Когда императрица выпила бокал за здоровье царского семейства, Петр III приказал своему генерал-адъютанту Гудовичу, стоявшему позади его стула, подойти и спросить Екатерину, почему она не встала, когда пила тост. Государыня отвечала, что так как императорская семья состоит из ее супруга, сына и ее самой, то она не думала, чтобы это было необходимо. Гудович, передав этот ответ, был снова послан сказать ей, что она дура и должна бы знать, что двое дядей, принцы голштинские, также члены венценосной семьи. Опасаясь, впрочем, что

посол смягчит выражения, он повторил все это громко, так что большая часть общества слышала его. Екатерина, сконфуженная и обиженная этой оскорбительно-неприличной выходкой, залилась слезами, но, желая оправиться и рассеять общее замешательство, обратилась к моему двоюродному брату, графу Строганову, стоявшему за ее стулом, и просила развлечь ее какой-нибудь шуткой. Граф, придворный юморист, всегда был готов удовлетворить желание государыни. Скрыв свое собственное неудовольствие, он весело стал рассказывать какой-то забавный анекдот, не совсем, впрочем, забывая о своих врагах, окружавших императора, в числе которых находилась его жена, конечно не пропустившая настоящего случая представить поступок своего мужа в дурном свете. Как только кончен был его рассказ, Строганову приказано было удалиться в загородный дом близ Каменного острова и не выходить из него впредь до особого разрешения.

Происшествия этого дня быстро разнеслись по городу; и, по мере того как Екатерина возбуждала к себе сочувствие и любовь, император по закону обратного действия глубже и глубже падал в народном мнении.

Из всех этих обстоятельств, оправданных несчастной судьбой этого монарха, можно извлечь поучительный пример. Кажется, ничто не может так сильно подрывать царскую власть в глазах народа, как самовольная тирания; поэтому я всегда считала ограниченную монархию, где государь подчиняется законам и в некотором отношении отвечает перед судом общественного мнения, самым лучшим человеческим правлением.

По одному особенному случаю император в сопровождении двух голштинских принцев и обычной своей свиты навестил моего дядю, канцлера. Будучи не совсем здорова, я была рада, что не могла участвовать в этой чести, говоря правду, совсем неутешительной, точно так, как и Екатерина никогда не вмешивалась в эти удовольствия, за исключением своих прогулок на чистом воздухе. На другой день я с удивлением услышала о трагикомической сцене, разыгранной Петром III и голштинским принцем Георгом. Среди какого-то спора, в азартной защите каждым своего мнения они обнажили мечи и бросились друг на друга. Старый барон Корф, родственник моей тетки, упал на колени между врагами и, закричав истощенным голосом старой бабы, божился, что не допустит ни одного удара, не умертвив себя здесь же на месте. Это удачное посредничество барона, любимого обоими соперниками, и человека в самом деле достойного остановило драку, которая разрешилась одним дурным последствием – беспокойством моего больного дяди, извещенного теткой в самый момент начинавшейся схватки. Потом я слышала о многих потешных перебранках между дядей и племянником, пока государь не уехал инспектировать кронштадтский флот, готовый выступить против Дании. Это воинственное предприятие под конец так завладело его мозгом, что он не мог отменить его даже в силу красноречивых и настоятельных просьб прусского короля.

После разлуки с мужем я не щадила никаких усилий, чтобы одушевить, вдохновить и укрепить мнения, благоприятные осуществлению задуманной реформы. Самыми доверенными и близкими ко мне людьми были друзья и родственники князя Дашкова: Пасек, Бредихин – капитан Преображенского полка, майор Рославлев и его брат, гвардейский Измайловский капитан. Двух последних я не имела случая часто видеть до самого апреля, когда мне нужно было увериться в чувствах солдат. Впрочем, чтобы отвести всякое подозрение, я продолжала вести обычный образ жизни, изредка посещая своих родных и знакомых. С виду занятая всеми требованиями моего пола и возраста, я казалась далеко не тем, что происходило в глубине моей души, и была горячо преданна государственным интересам.



Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767) – русский государственный деятель и дипломат, которому обязан своим возвышением род Воронцовых. Один из ближайших приближенных Елизаветы Петровны и Петра III, участник дворцового переворота 1741 года. С 1744 года – вице-канцлер, в 1758–1765 гг. – канцлер Российской империи. Строитель и первый владелец Воронцовского дворца в Санкт-Петербурге и Воронцовой дачи на Петергофской дороге. Дядя графини Екатерины Романовны Дашковой

Как скоро определилась и окрепла моя идея о средствах хорошо организованного заговора, я начала думать о результате, присоединяя к моему плану некоторых из тех лиц, которые своим влиянием и авторитетом могли дать вес нашему делу. Между ними был маршал

Разумовский, начальник Измайловской гвардии, очень любимый своим корпусом. Он, хотя и жалюемый при дворе, понимал всю неспособность царствующего монарха и опасность его правления. Правда, он любил Россию настолько, насколько его придворная апатия позволяла ему что-нибудь любить. Но богатый, осыпанный всевозможными почестями, ленивый, готовый отступить от всякого опасного и сомнительного предприятия, на что он мог быть употреблен в настоящем случае? Как, однако, ни был тернист путь, избранный мной, я не робела при встрече с трудностями. Однажды, навестив английского посланника, я услышала отзыв, что гвардейцы обнаруживают расположение к восстанию, в особенности за датскую войну. Я спросила Кейта, не возбуждают ли их высшие офицеры. Он сказал, что не думает: генералам и старшим военным чинам нет выгоды возражать против похода, в котором их ожидают отличия. «Эти неосторожные слухи, – заметил он, – поведут за собой ряд военных наказаний, ссылки в Сибирь, и тем дело кончится».

Я воспользовалась этим обстоятельством и переговорила с некоторыми офицерами полка Разумовского, уже верившими в меня, – с двумя Рославлевыми и Ласунским, коротко известными маршалу; последний из них даже имел значительное влияние на него, если верить молве. Хотя они не обнадеживали меня положительным содействием Разумовского, я, однако, поручила им намекнуть при обыкновенном разговоре с маршалом на ропот полка и выразить подозрение насчет близкой перемены – сначала, разумеется, коснуться слегка, потом по мере успеха сказать о готовом заговоре поясной, а когда дело созреет в целом, открыть себя полностью. Таким образом, он будет слишком далеко на дороге наших замыслов, чтобы превратиться в доносчика. Чтобы отрезать всякое отступление, я советовала внушить ему, что знать наши намерения – значит участвовать в них, а так как опасность придется делить пополам, то в его же интересах, как и в наших, в случае надобности встать во главе этого полка. Все шло по моему желанию, и наш стратегический план увенчался полным успехом.

Другое лицо, бесконечно важное для успеха нашего дела, был Панин, воспитатель великого князя; в руках его были вся сила и влияние, соединенные с таким отличным постом. В продолжение весны я видела его у себя, и он навещал меня так часто, как только позволяли его придворные занятия. Я намекала ему насчет вероятности и последствий революции, которая могла бы дать нам лучшего правителя, и мимоходом старалась выпытать его собственное мнение. Он всегда охотно рассуждал об этих предметах и иногда высказывал любимую мечту – посадить на трон своего юного питомца, установив форму правления на основаниях шведской монархии.

Молодой и слабый заговорщик не вдруг мог приобрести доверенность осторожного и осмотрительного политика, подобного Панину. Но наперекор моей юности и пола уважение ко мне со стороны других давало некоторое право на внимание и Панина. Князь Репнин, его любимый племянник, которого я часто встречала в доме княгини Куракиной, знал меня хорошо; он представил меня нашему общему дяде как женщину строго нравственного характера, восторженного ума, как пламенную патриотку, чуждую личных честолюбивых расчетов.

Благоприятное впечатление, которое могло зависеть от такой рекомендации, было подкреплено, по-видимому, обстоятельством ничтожным, но доказавшим мне искренность моего панегириста. В минуту одного безумного припадка императора он доверчиво обратился ко мне за советом и помощью. Пир по случаю мира с Пруссией, о чем я уже сказала, сопровождался другим торжеством в Летнем дворце, где государь без церемоний, на свой лад угощал своих душевных приятелей, голштинских генералов, прусского посла, некоторых придворных дам и в том числе Репнина. Государь дал полную волю своему разгулу, пропировав здесь до четырех часов утра, когда его пьяного, без чувств, уложили в карету. С этой пирушки Репнин прискакал прямо ко мне. Я была разбужена стуком в дверь моей

спальни и немедленно разбудила свою старую служанку, лежавшую около меня. На вопрос, сделанный брюзгливым тоном, кто это осмелился нарушить ее покой, она доложила мне, что князь Репнин желает видеть меня. Я оделась и вышла спросить, что его привело ко мне в такое время. Он казался чрезвычайно взволнованным и без дальних околичностей в глубоком отчаянии воскликнул: «Ну, моя милая кузина, все потеряно – наш план разрушен! Сестра ваша, Елизавета, получила орден Св. Екатерины, а я назначен министром-адъютантом, или министром-лакеем, к прусскому королю». Это обстоятельство, которое служило прелюдией низвержения императрицы, сильно поразило меня; орден Св. Екатерины жаловался только принцессам королевской крови. Поразмыслив, однако, я ответила, что не надо слишком серьезно принимать действия и намерения, выходящие из такой головы, какова у Петра III. Поэтому я советовала князю ехать домой отдохнуть и как можно скорей сообщить об этом Панину.

Когда он ушел, я глубоко задумалась над разными проектами, которые то составлялись, то отвергались заговорщиками. Они казались мне большей частью праздными мечтами, без твердых начал или убеждений. В одном пункте все единодушно сходились в том, что отплытие императора в Данию будет сигналом к решающему удару.

Многое еще оставалось сделать до вожделенной минуты, и назначенное время приближалось. Поэтому при следующем свидании с Паниным я решила сбросить всякую маску и открыть ему всю сущность и силу нашего заговора. При первом удобном случае я заговорила с ним о серьезном намерении поднять революцию. Он слушал внимательно и в ответ начал придирается к формам, как надо приступить к делу и как ввести в круг нашего действия Сенат. Что авторитет этого государственного учреждения помог бы нам, я не отвергала, но спросила, можно ли без величайшего риска искать его участия. Я также согласилась с ним, что императрица взойдет на престол не иначе как с правом регента на время малолетства ее сына; но я не допускала его сомнений относительно второстепенных вопросов реформы. «Дайте совершиться, – сказала я, – и никто не заподозрит его в ином стремлении, как в настоятельной необходимости свергнуть зло с переменой настоящего правления». Тогда я назвала ему главных участников моего замысла – двух Рославлевых, Ласунского, Пасека, Бредихина, Баскакова, Гетрофа, князей Барятинского и Орловых. Он удивился и струсил, увидев, как далеко я зашла в своем предположении и притом без всякого предварительного переговора с Екатериной. Я защищала свою скрытность в этом случае осторожностью относительно государыни, и было бы неуместно и даже опасно вводить ее в наши планы, еще незрелые и шаткие.

Из всего, что сказал мой дядя в это свидание, я заметила в нем и присутствие мужества, и желание встать с нами, но он колебался при мысли о результате реформы. Расставаясь с ним, я просила его склонить на нашу сторону Теплова, который только что вышел из крепости, куда был заключен Петром III. Его красноречие и умение говорить народным языком были нам полезны в первые минуты восстания, а его влияние на Разумовского еще важнее было для нашей поддержки. В заключение я убеждала Панина не говорить ему о провозглашении великого князя, а предоставить это дело мне; так как наставнику свойственно дружить своему воспитаннику, то это могло подать повод к недоразумениям. Что же касается меня, всем известного преданного друга императрицы, я могла объясниться, не возбуждая ни подозрений, ни недоверия. Согласно с этим впоследствии я сделала это предложение; к счастью, исполнение его было остановлено рукой Провидения, хранившего судьбу государства.

Между иностранцами, искателями счастья в Петербурге, был один пьемонтец по имени Оdart, который по милости моего дяди служил адвокатом в коммерческой коллегии. Он был средних лет, человек болезненный, живой и острый, хорошо образованный и ловкий интриган, но по причине незнания русского языка, произведений и внутренних сообщений счел себя бесполезным на этом месте и желал занять какую-нибудь должность при императрице.

С этой целью он просил моего ходатайства; я рекомендовала его государыне в качестве секретаря. Но так как переписка ее ограничивалась одними родственниками, она не хотела принять его, тем более что считала опасным поручать эту обязанность иностранцу. Впрочем, я выхлопотала ему при ней место смотрителя некоторых доходов, определенных Петром III.

Я заговорила об этой личности, потому что между ложными фактами, распространенными о революции, Одарта считали моим главным руководителем и советником. В одном из писем императрицы будет видно, что я познакомила его с ней; правда и то, что я ради его здоровья доставила ему случай находиться при графе Строганове, когда тот был изгнан императором на свою дачу. Но Оdart отнюдь не был моим поверенным, и я редко его видела, ни одного раза за три недели до переворота. Я была очень рада помочь ему, но никогда не спрашивала его совета. И я думаю, что он знал меня настолько, что не осмелился сделать тех предложений со стороны Панина, которые возвели на него некоторые французские писатели в своих бессмысленных брошюрах.

Но я возвращаюсь к своему главному рассказу. Новгородский архиепископ, известный своей ученостью, любимый народом и обожаемый духовенством, конечно, не сомневался в том, чего могла ожидать церковь от такого повелителя, как Петр III. Его собственные опасения на этот счет, уже давно возбужденные в нем, которых он и не скрывал, ставили его в наших рядах если не как деятельного участника, то по крайней мере как ревностного покровителя наших замыслов. Я с удовольствием услышала от князя Волконского, дяди моего мужа, по возвращении его из армии, что дух ропота обнаружился даже среди солдат; они были недовольны тем, что их заставляли обратить оружие против первого их союзника, Марии Терезии, в пользу прусского короля, с войсками которого они так долго бились. Я передала эту новость Панину как доказательство между прочим и того обстоятельства, что князь Волконский был не чужой нам; впоследствии он вполне оправдал нашу надежду.

Наш круг с каждым днем увеличивался численно, но план действия не имел соответствующего успеха. При таком порядке вещей я половину времени проводила в уединении на своей даче близ Петербурга. Я скрывалась от всех своих друзей под предлогом нездоровья и старалась уяснить свои идеи и изыскать более практичные и верные средства для достижения задуманной цели.

Дача, о которой я говорю, находилась недалеко от города, близ Красного Кабачка, и составляла часть обширной болотистой местности, некогда покрытой густым кустарником. Петр III приказал разделить ее между некоторыми помещиками. Посредством осушения и обработки этой бесплодной земли она была обращена богатыми владельцами в плодородную и прекрасную долину. Мой участок сначала был подарен одному голштинскому генералу; не имея терпения разработать его, он отказался от своего владения, предоставив его опять в распоряжение правительства, а себе избрав другое. В числе прочих эта земля была предложена мне. Но недостаток денежных средств для самых необходимых расходов, которыми я не хотела беспокоить своего мужа, заставил было меня отказаться от нее, подобно голштинскому генералу. Впрочем, отец мой, желая, чтобы я приняла ее, предложил построить здесь дом за свой собственный счет и таким образом уладил дело, в котором я сомневалась.

Около этого времени случилось быть в Петербурге сотне крестьян, принадлежащих моему мужу; им позволялось в известное время года работать на самих себя. Из благодарности и любви к их великодушному помещику эти добрые мужики вызвались поработать четыре дня кряду на этом новом владении и потом каждый праздник по очереди продолжать свой труд. С их помощью были прорезаны небольшие каналы и поднята почва для постройки дома и его служб. Но, несмотря на то что я начинала любить это первое земельное приобретение, которое составляло мою собственность, я не хотела дать ему названия до тех пор,

пока не освящу его именем того святого, в день которого увенчается успехом наше политическое предприятие.

Однажды провожал меня сюда верхом мой брат граф Строганов. Намереваясь показать ему некоторые улучшения, я попыталась пройти, по-видимому, по зеленому лугу, но, к сожалению, до самых колен завязла в болоте. Жестокая простуда и лихорадка были следствием того. В это время я получила очень дружеское письмо от императрицы, которая шутила над этим происшествием, приписывая вину за него невниманию моего прекрасного кавалера – «обезьяны», как она называла его; название вполне выражало неуклюжесть Строганова, соединенную с его расположением к шутовству. Я постаралась ответить на это письмо и писала в минуту сильного лихорадочного припадка; зато только чего в ответе не было! Вероятно, я говорила о своих революционных надеждах, и в таком бессвязном, неясном виде, с такой смесью прозы и стихов, французского и русского, что Екатерина, намекнув впоследствии на это письмо, спросила, как долго я была одержима духом пророчества. Что касается моих пламенных выражений дружбы, она поняла и оценила их; что же до моего намерения назвать свое имение в честь вождя дня, она решительно не понимала моего желания. В это время государыня часто писала мне и, по-видимому, с более спокойным духом, менее встревоженная грядущими обстоятельствами, чем ее друзья, ожидания которых относительно близкой перемены были гораздо серьезнее, чем ее собственные.

Между тем, случилось событие, уронившее царское достоинство Петра III гораздо больше, нежели какая-нибудь из его обыкновенных глупостей.

В царствование его тетки сербы, последователи православной веры, подобно своим братьям по религии, искавшим убежища в Венгрии, в австрийских владениях, прислали к Елизавете депутатов, просивших у нее защиты и земли в ее империи, чтобы избавиться от преследований римско-католического духовенства, всесильного в эпоху Марии Терезии. Хотя императрица была другом немецкой королевы, она по религиозному чувству уступила их просьбе; благосклонно приняв депутатов, она отвела сербам несколько превосходных участков в южной полосе России. Кроме того, им дано было денежное вспоможение на переселение и для набора нескольких гусарских полков из своей среды. Но вот что случилось. Один из этих депутатов по имени Хорват, тонкий интриган, втерся в доверие к тем чиновникам, которым было поручено устройство новой колонии, и присвоил себе деньги; вместо того чтобы употребить их на помощь многим тысячам своих соотечественников, уже пришедших на отведенное им место, он присвоил их себе и стал поступать с переселенцами, как господин со своими рабами.



Дмитрий Леонидович Хорват (1858–1937) – русский генерал-лейтенант, инженер-путеец по образованию, в разные годы руководил различными участками железных дорог Российской империи, один из лидеров Белого движения на Дальнем Востоке

Угнетенный народ жаловался государыне, которая послала князя Мещерского рассудить их. Но вследствие болезни и скорой смерти Елизаветы, в связи с другими препятствиями дело, перенесенное в Сенат, осталось нерешенным. Хорват же, услышав о кончине императрицы, поспешил в Петербург и подарил по две тысячи дукатов каждому из трех сановников, близких к престолу и особенно любимых Петром III. В числе их он поставил

Льва Нарышкина, знаменитого придворного шута, генерала Мельгунова и генерал-прокурора Глебова. Двое последних отважно сказали о своей взятке императору и были превознесены его похвалами за откровенность их поступка. «Вы честные ребята, – сказал он, – и если вы поделитесь со мной вашей добычей, я пойду сам в Сенат и решу дело в пользу Хорвата». Государь сдержал слово: скрепил акт, по которому Россия потеряла сто тысяч жителей, ничего более не требовавших, только идти вслед за своими соотечественниками как исполнения обещанного покровительства. Когда же Петр III услышал о взятке Нарышкина, не признавшегося в ней, подобно своим товарищам, он отобрал у него всю сумму сполна, присвоив ее себе в виде наказания; довольный, он несколько дней потом насмешливо спрашивал Нарышкина, что тот сделал с полученной взяткой от Хорвата. Подобное воровство, грязное для всякого честного человека, унизило императора в общественном мнении ниже шута и подвергло их всех общему смеху и презрению.

Около того же времени император выкинул поразительный фарс перед лицом всего Измайловского гвардейского полка. Маршал Разумовский однажды был позван маневрировать своим полком в присутствии императора вследствие общего приказа, по которому каждый командир обязан был показать свое искусство. После развода, когда Разумовский, человек вовсе не военных способностей, заслужил высочайшее благоволение, государь, вполне счастливый, отправился со своей свитой обедать. Мимоходом он заметил своего любимого негра (если не ошибаюсь, Нарцисса), яростно сцепившегося с другим служителем и оборонявшегося руками и ногами. Сначала Петр III расхохотался, но, когда увидел, что соперником его черного любимца был полковой мусорщик, лицо его тотчас изменилось, и он с досадой воскликнул: «Нарцисс потерян для нас навсегда!» Что он разумел под этим – трудно было понять. Разумовский спросил государя о причине его неудовольствия. «Как, – сказал император, – разве вы, военный человек, не понимаете, что я больше не могу допустить его к себе после этой позорной и унижительной драки с мусорщиком». Маршал, прикинувшись партизаном царского горя, с важностью предложил смыть пятно с негра, покрыв его знаменами полка.

Эта идея, воскресившая Нарцисса, с восторгом была принята государем; поцеловав Разумовского, он приказал привести негра. «Разве ты не знаешь, – сказал он ему, – что ты обещен и навсегда удален от нас за это подлое соприкосновение с мусорщиком?» Бедолага, пенившийся злостью и не поняв значения этих слов, начал оправдываться, говоря, что он, как честный человек, должен был наказать этого мерзавца, который бросился на него первым. Но, когда по приказанию Петра III его стали проводить три раза под полковыми знаменами, негр так стойко сопротивлялся, что четыре человека вынуждены были держать его во время этой церемонии.

Впрочем, этого было мало. Император требовал, чтобы из негра выпустили несколько капель крови для омытия пятна его бесчестия, и был удовлетворен только тогда, когда к его голове прикоснулись концом знамени. Крики и завывания бедного африканца против его господина и нелепость всей этой сцены была пыткой для офицеров, готовых разразиться общим смехом; и действительно, трудно было удержаться от хохота, смотря на торжественную осанку царя, который, казалось, в одно время работал над искуплением чести своего лакея и своей собственной императорской славы.

Отец мой вовсе был в немилости при настоящем дворе. Хотя государь и оказывал некоторое уважение моему дяде, канцлеру, он не слушался его политических советов. Являться каждое утро на парады в качестве капрал-майора, хорошо есть, пить бургундское, проводить вечера между шутами и известными женщинами, исполнять всякое приказание прусского короля – вот что было счастьем и славой Петра III, и он процарствовал семь месяцев. Самым великим его предприятием было желание отнять у датского короля клочок земли, который

он считал своей собственностью, и с такой поспешностью действовал в этом деле, что даже не хотел отложить его до окончания своей коронации.

Глава V

С отъездом двора в Петергоф в начале лета я была более свободна, чем думала, и, отделавшись от вечерних собраний императора, с удовольствием осталась в городе. В это время многие гвардейцы, негодуя на скорый поход против Дании, обнаруживали сильные признаки раздражения и начали распускать молву, что жизнь императрицы в опасности и что, следовательно, присутствие их необходимо дома. Поэтому я уполномочила некоторых офицеров из своей партии уверить солдат, что я каждодневно вижу государыню и ручаюсь известить их, когда настанет благоприятная минута восстания.

Затем грозная тишина воцарилась до 27 июня, до того знаменитого дня, когда приливы надежды и страха, восторга и скорби волновали грудь каждого заговорщика. Когда я размышляю о событиях этого дня, о славной реформе, совершенной без плана, без достаточных средств, людьми различных и даже противоположных убеждений, подобно их характерам, а многие из них едва знали друг друга, не имели между собой ничего общего, за исключением одного желания, увенчанного случайным, но более полным успехом, чем можно было ожидать от самого строгого и глубоко обдуманного плана, – когда я размышляю о всем этом, нельзя не признать воли Провидения, руководившего нашими шаткими и слабыми стремлениями. Если бы участники искренне сознались, как много они обязаны случаю и удаче, они должны бы менее гордиться собственными заслугами. Что касается меня, я, положив руку на сердце, говорю, что, хотя мне принадлежала первая роль в этом перевороте – в низвержении неспособного монарха, вместе с тем я изумляюсь факту: ни исторические опыты, ни пламенное воображение восемнадцати веков не представляют примера такого события, какое осуществилось перед нами в несколько часов.

В полдень 27 июня Григорий Орлов привез мне известие об аресте капитана Пасека. Пасек и Бредихин были у меня накануне вечером, предупредив об опасности, которой угрожало нетерпение солдат, в особенности гренадеров. Поверив распушенным слухам относительно императрицы, они открыто говорили против Петра III и громко требовали, чтобы их вели против голштинских отрядов в Ораниенбаум. Желая успокоить тревогу этих двух молодых людей, я подтвердила свою личную готовность встретить опасность и просила их еще раз уверить солдат прямо от меня в том, что императрица совершенно благополучна, живет на свободе в Петергофе и что они должны быть спокойны и покорны приказаниям других, иначе дело будет проиграно. Пасек и Бредихин немедленно отправились в казармы с моим поручением, но среди общей суматохи наша тайна дошла до сведения Преображенского майора Войсикова, который тотчас же арестовал Пасека и таким образом ускорил счастливую развязку катастрофы.

Когда Орлов известил меня об этом аресте, не зная ни причины, ни подробностей его, со мной находился Панин. Со свойственной его характеру флегмой и медлительностью, а может быть и из желания скрыть от меня опасность, он, по-видимому, считал это происшествие менее серьезным, чем я, и представлял его как следствие какого-нибудь военного проступка. Напротив, я приняла его за сигнал к решительному действию, хотя и не могла убедить Панина в этом мнении. Между тем Орлов хотел немедленно идти в казармы и обстоятельно разузнать, арестован ли Пасек за государственное преступление или за военный проступок. В первом случае он обещал возвратиться ко мне со всеми подробностями и послать своего брата с тем же уведомлением к Панину.

Когда Орлов ушел, я попросила дядю оставить меня под тем предлогом, что мне нужен отдых. Но как только он удалился, я накрылась мужским широким плащом и, таким образом перенарядившись, пошла пешком к Рославлеву.

По дороге я встретила верхового офицера, скакавшего во весь галоп по направлению ко мне. Не знаю, как я узнала в нем Орлова, хотя никогда не видела ни одного из них, кроме Григория, но убежденная в этом, я решила остановить его, назвав собственным именем. Наездник сдержал лошадь и, когда узнал, кто говорит с ним, сказал: «Княгиня, я ехал уведомить вас, что Пасек арестован как государственный преступник; четверо часовых стоят у его дверей и двое у каждого окна его комнаты. Брат мой побежал известить Панина, а я передал уже эту новость Рославлеву». – «Ну, а что последний: сильно был встревожен этим известием?» – спросила я. – «Да, несколько испугался, – отвечал Орлов, – но зачем вы стоите на улице? Позвольте мне проводить вас домой». – «Мы безопаснее здесь, – заметила я, – чем дома, где трудно укрыться от наблюдения слуг. Но теперь терять слова нечего. Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы они сию же минуту отправились в Измайловский полк и оставались при своих постах с целью принять императрицу в окрестностях города. Потом вы или один из ваших братьев молнией летите в Петергоф и от меня просите государыню немедленно сесть в почтовую повозку, которая уже приготовлена для нее, и явиться в лагерь Измайловских гвардейцев: они готовы провозгласить ее главой империи и проводить в столицу. Скажите ей, дело такой важности, что я даже не имела времени зайти домой и известить ее письменно, что я на улице и изустно отдала вам поручение привезти ее без малейшего промедления. Может быть, я сама приду и встречу ее».

Почтовая повозка, о которой я сказала, требует нескольких слов моего рассказа. После того как я видела у себя Пасека и Бредихина и услышала от них о тревожном состоянии солдат, можно было подумать, что они, не дожидаясь приказаний, начнут дело. На этот случай я написала Шкуриной, жене камер-лакея Екатерины, чтобы она отправила к своему мужу в Петергоф телегу с четверкой почтовых лошадей, с тем чтобы эти лошади были постоянно готовы для императрицы, если вдруг ее присутствие будет необходимо в Петербурге. Я хорошо знала, как трудно было бы ей в случае надобности достать себе придворную карету без особого позволения Измайлова, министра двора, человека менее всех расположенного в пользу государыни. Панин думал, что начало революции еще далеко, и потому смеялся над моей слишком поспешной предосторожностью. Но, если бы мы пренебрегли этими дальновидными мерами, Бог знает, когда и как были бы достигнуты наши надежды.

Отпустив Орлова, я возвратилась домой, но в таком раздраженном настроении духа, что решила немного отдохнуть. Между тем приказала приготовить к вечеру мужское платье, но портной опоздал. Когда же я оделась, оно жало и стесняло мои движения. Чтобы не возбуждать подозрений со стороны домашней прислуги, я легла в постель, но не прошло и часу, как была поднята страшным стуком в ворота. Вскочив с постели, я вышла в ближайшую комнату и приказала принять, кто бы это ни был. Молодой человек, неизвестный мне, явился и назвал себя младшим Орловым. Он приехал спросить (говорил он), не рано ли посылать за императрицей и беспокоить ее слишком поспешным требованием в Петербург.

Я остолбенела. Это так взбесило меня, что я не могла сдержать своего гнева (причем выразилась довольно энергично) против самовольного замедления исполнения моих приказаний, данных Алексею Орлову. «Вы упустили самое драгоценное время, – сказала я. – Вы боялись потревожить государыню и решили, вместо того чтобы своевременно явиться с нею в Петербург, обречь ее на жизнь в темнице или одну с нами участь на эшафоте. Скажите же своему брату, чтобы он немедленно скакал в Петергоф и привез ее в город как можно скорей, иначе Петр III опередит ее и разрушит все наши надежды на спасение России и императрицы».

Орлов, очевидно, был тронут моим порывом и уверил меня, что брат его сию же минуту исполнит мои поручения.

Когда он ушел, я предалась самому печальному раздумью. Мысль боролась с отчаянием и ужасными представлениями, я горела желанием ехать навстречу императрице. Но

стеснение, которое я чувствовала от моего мужского наряда, приковало меня в бездействии и уединении к постели. Впрочем, воображение без устали работало, рисуя по временам торжество императрицы и счастье России, но эти сладкие видения быстро сменялись другими страшными мыслями. Малейший звук будил меня, и Екатерина, идеал моей фантазии, представлялась бледной, обезображенной. Эта потрясающая ночь, в которую я выстрадала за целую жизнь, наконец прошла. С каким невыразимым восторгом я встретила счастливое утро, когда узнала, что государыня вошла в столицу и провозглашена главой империи Измайловским полком, который проводил ее в Казанский собор среди огромного собрания войска и граждан, готовых принести ей обет подданства.

Было шесть часов. Я приказала подать себе парадное платье и поспешно отправилась в Летний дворец, где предполагала найти Екатерину. Трудно сказать, как я добралась до нее. Дворец был окружен множеством народа и войск, со всех концов города стекавшихся и соединившихся с измайловцами; я вынуждена была выйти из кареты и пешком пробиваться сквозь толпу. Но как только меня узнали некоторые из офицеров и солдат, я была поднята на руки и отовсюду слышала приветствия как общий друг и осыпана тысячами благословений. Наконец я очутилась в передней со вскруженной головой, с изорванными кружевами, измятым платьем, совершенно растрепанная вследствие своего триумфального прихода, и поторопилась представиться государыне. Мы были тут же в объятиях друг у друга. «Слава богу», – вот все, что мы могли сказать в эту минуту.

Потом она рассказала о своем побеге из Петергофа, о своих опасениях и надеждах перед этим ударом. Я слушала ее с биением сердца и в свою очередь описала ей проведенные мной в то же время тоскливые часы, которые были тем тягостнее, что я не могла встретить ее и следить за успехом ее судьбы, блага или бедствия всей России. Мы еще раз обнялись – и я никогда так искренне, так полно не была счастлива, как в этот момент. Заметив, что императрица украшена лентой св. Екатерины и еще не надела Андреевской – высшего государственного отличия (женщина не имела права на него, но царствующая государыня, конечно, могла украситься им), я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а Екатерининскую, согласно с ее желанием, положила в свой карман.

После легкого завтрака государыня предложила двинуться в голову войска в Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей. С этой целью, желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, достала себе у лейтенанта Пушкина – двух молодых офицеров нашего роста. Эти мундиры, между прочим, были древним национальным одеянием Преображенского полка со времени Петра Великого, впоследствии замененных прусскими куртками, введенными Петром III. Замечательно, что, едва императрица вошла в город, гвардейцы будто по команде сбросили с себя иностранный мундир и оделись в свое старое платье.



Екатерина II Алексеевна Великая (1729–1796) – императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. Художник – Виргилиус Эриксен

Когда императрица стала готовиться к своему походу, я уехала домой переодеваться, а по возвращении застала ее в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. С ней находились те сенаторы, которые были тогда в городе, и Теплов, призванный в качестве секретаря.

Так как известие о побеге императрицы из Петергофа и обо всех других событиях этого дня уже могло дойти до Петра III, я думала, что он двинется к Петербургу, чтобы остановить восстание войск. Под влиянием этого впечатления я решила сообщить свое мнение государыне. Два офицера, стоявших на часах у дверей совета, вероятно удивленные моим смелым

движением или полагавшие, что я имею право всегда являться на глаза Екатерины, беспрепятственно пропустили меня в комнату. Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, советуя принять всевозможные меры против прихода Петра III. Теплому тотчас же было приказано написать указ и разослать его копии вместе с другими инструкциями в две главные части, которые должны были охранять два подступа к городу – по воде единственные незащищенные пункты. Мое нечаянное появление в совете изумило почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня в военном мундире. Екатерина, заметив это, сказала им мое имя, прибавив, что она обязана моей дружбе указанием в эту минуту на одну очень необходимую предосторожность, которую она совершенно упустила из виду. Сенаторы единодушно встали со своих мест, чтобы поздравить меня, при этом я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире.

Когда заседание кончилось и были отданы приказания относительно безопасности столицы, мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели двенадцать тысяч войска, кроме волонтеров, ежеминутно стекавшихся под наше знамя.

В Красном Кабачке, в десяти верстах от Петербурга, мы отдохнули немного, чтобы дать отдых пехотному войску. Да и нам необходим был покой, особенно мне, ибо последние пятнадцать ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была истинной роскошью для моих измученных членов. Едва мы расположились на постели, завешанной шинелью, взятой у полковника Кара, я заметила маленькую дверь позади изголовья императрицы. Не зная, куда она ведет, я попросила позволения выйти и увериться, все ли безопасно; удостоверившись, что эта дверь сообщалась тесным и темным коридором со внешним двором, я поставила у нее двух часовых, приказав им не трогаться с места без моего позволения. Потом я возвратилась к императрице, которая перебирала какие-то бумаги. Так как мы не могли заснуть, она прочитала мне копию будущего манифеста. Мы на досуге рассуждали о том, что надо делать, полные восторга, от которого далеко отлетала всякая тревожная мысль об опасности.

Глава VI

Между тем Петр III, не захотев последовать совету маршала Миниха, находился в самом нерешительном состоянии. Он скакал взад и вперед между Петергофом и Ораниенбаумом до тех пор, пока наконец, уступив просьбам своих друзей, не поплыл в Кронштадт, чтобы овладеть флотом. Императрица, впрочем, не забыла обратить внимание на это важное обстоятельство и расположить в свою пользу морскую силу. Она послала адмирала Талызина командовать флотом во имя ее. Увидев, что Петр подъезжает к кронштадтскому берегу, Талызин не позволил ему высадиться. Несчастный царь вынужден был плыть назад в Ораниенбаум, отправив Измайлова к Екатерине с самыми покорными предложениями и обещаниями отречься от престола.

Посол этих переговоров встретил нас по дороге в Петербург. Как были отличны его язык и поведение от моего дяди, канцлера, который представился императрице в ту самую минуту, когда мы покидали город. Последний возражал против поступка, начатого Екатериной, а когда ее не убедили его слова, он оставил ее, не дав присяги на подданство. «Будьте уверены, мадам, – сказал он хладнокровно и с достоинством великой души, – что я никогда не присягну, ни словом, ни делом, вашему ложному правлению. А чтобы увериться в справедливости моего обета, поставьте одного из ваших преданных офицеров сторожем у моих дверей; я никогда не изменю клятве, данной императору, пока он существует».

Нельзя было не удивляться мужеству моего почтенного дяди, руководимого в настоящем случае одним строгим долгом по отношению к своему государю: он не искал его милости, он не доверял его правлению, с трудом повиновался ему и грустно смотрел на его будущее.

Государыня отослала назад генерала Измайлова, заклиная его уговорить Петра III покориться ее воле из опасения навлечь сопротивлением страшное зло, обещая притом, что она со своей стороны постарается устроить его жизнь как можно веселой в резиденции, им самим избранной около Петербурга.

Когда мы достигли Сергиевского монастыря, князь Голицын явился с письмом от императора. Между тем толпа, следовавшая за нами, с каждым часом прибывала, приходя с противоположной стороны.

Вскоре после нашего прибытия в Петергоф Петр III в сопровождении Измайлова и Гудовича явился во дворец с изъявлением покорности. Он был никем не видимый введен в отдаленный покой, где был приготовлен обед. Так как он избрал местом своего будущего пребывания замок Ропшу, принадлежавший ему, когда он еще был великим князем, то его немедленно отправили туда под прикрытием Алексея Орлова и подчиненных ему капитана Пасека, князя Федора Бяратинского, Баскакова, с приказанием охранять развенчанного монарха.

Я не видела его в минуту падения, хотя и могла бы, но мне говорили, что он мало горевал о перемене своего положения. Прежде чем расстаться с Петербургом, он написал две или три небольших записки императрице. В одной, как я узнала, он изъявил ясное и решительное отречение от короны; назвав некоторых лиц, которых он желал иметь при себе, он не забыл упомянуть о некоторых необходимых принадлежностях своего стола, между прочим просил отпускать ему вдоволь бургундского, табаку и трубок.

Но довольно об этом злосчастном государе, которого природа создала для самых низших рядов жизни, а судьба ошибкой вознесла на престол. Нельзя сказать, что он был совершенно порочен, но телесная слабость, недостаток воспитания и естественная склонность ко всему пошлому и грязному, если бы он продолжал царствовать, могли иметь для его народа не менее гибельные результаты, чем самый необузданный порок.

В продолжение всего этого дня, начиная с вечера накануне, я почти не отдыхала; впрочем, ум и страсти так были заинтересованы настоящими обстоятельствами и событиями, что я чувствовала усталость только тогда, когда переставала действовать. Этот вечер я провела в разнообразных хлопотах то в одном, то в другом конце дворца, потом между гвардейцами, расставленными на часах у разных входов. Возвращаясь от голштинской принцессы, родственницы императрицы, с просьбой позволить ей видеть государыню, я чрезвычайно изумилась, заметив Григория Орлова, растянувшегося во весь рост на диване (кажется, он ушиб себе ногу) в одной из царских комнат. Перед ним лежал огромный пакет бумаг, который он собирался распечатать; я заметила, что это были государственные акты, сообщенные из верховного совета, мне приводилось их часто видеть у моего дяди в царствование Елизаветы. «Что такое с вами?» – спросила я его с улыбкой. – «Да вот императрица приказала распечатать это», – отвечал он. – «Невозможно, – сказала я, – нельзя раскрывать их до тех пор, пока она не назначит лиц, официально уполномоченных для этого дела, и я уверена, что ни вы, ни я не можем иметь притязания на это право».

В ту самую минуту мы были прерваны докладом, что солдаты, томимые жаждой и усталые, вломилась в погреба и наполнили каски венгерским вином, думая, что это водка. Я немедленно вышла, чтобы восстановить порядок. К моему крайнему удивлению, при всеобщей суматохе, при совершенном отсутствии дисциплины моя речь так подействовала, что они, вылив вино на землю, положили свои кивера на место и удовольствовались тем, что утолили жажду из ближайшего ручья. Я бросила им все деньги, какие были со мной, и вывернула карманы, чтобы показать: я отдала все, что могла. В то же время обещала, что по возвращении в город будут открыты кабаки и они могут пить сколько душе угодно на казенный счет. Эта риторика была совершенно в их вкусе, и они весело разошлись.

Коснувшись этого пункта, я вспомнила, что в некоторых изданиях было напечатано, будто я получала от императрицы и от иностранных дворов деньги на подмогу своим революционным проектам – клевета совершенно ложная. От государыни я никогда не просила и не приняла ни одного рубля, и, хотя французский министр открывал мне неограниченный кредит на этот случай, я всегда отвечала, что для нашей революции мы не имеем нужды ни в каких иностранных пособиях.

Проходя к императрице через ту комнату, где Григорий Орлов лежал на софе, я нечаянно заметила стол, накрытый на три прибора. Обед был подан, и Екатерина пригласила меня обедать вместе. Войдя в залу, я с крайним неудовольствием увидела, что стол был придвинут к тому месту, где лежал Орлов. На моем лице отразилось неприятное чувство, что не укрылось от Екатерины. «Что с вами?» – спросила она. – «Ничего, – отвечала я, – кроме пятнадцати бессонных ночей и необыкновенной усталости». Тогда она посадила меня рядом с собой, как будто в укор Орлову, который изъявил желание оставить военную службу. «Подумайте, как это было бы неблагодарно с моей стороны, если бы я позволила ему выйти в отставку». Я, конечно, была не совсем согласна с ее мнением и прямо заметила, что она, как государыня, имеет много других средств выразить свою признательность, не стесняя ничьих желаний.

С этого времени я в первый раз убедилась, что между ними была *связь*. Это предположение давно тяготило и оскорбляло мою душу.

После нашего обеда и отъезда Петра III в Ропшу мы отправились в Петербург и по дороге провели два часа в загородном доме князя Куракина, где Екатерина и я опять отдыхали в одной постели. Отсюда мы проехали в Екатерингоф, где нас встретило огромное стечение народа; он собрался на случай борьбы за нас с голштинской гвардией, ненавистной всей нации.

Затем последовала сцена выше моего описания. Когда мы въехали в столицу, проходя по ней торжественной процессией, улицы и окна были усеяны зрителями, радостные при-

ветствия оглашали воздух. Военная музыка и звон колоколов сливались с веселым говором толпы, бежавшей за поездом. Двери церковей были отворены настежь, и в глубине виднелись группы священников, стоявших за блистательными алтарями: религиозная церемония осыатила народный восторг!

Как, однако, ни была поразительна сцена воодушевления вокруг меня, но она почти меркла перед моей собственной мыслью, полной энтузиазма. Я ехала возле императрицы, участвуя в благословениях революции, не запятнанной ни одной каплей крови. Вместе с тем, об руку со мной была не только добрая монархиня, но и первый мой друг, которому я содействовала ценой жизни освободиться от губельной неволи и взойти на престол возлюбленной Родины.

Когда мы приблизились к подъезду Летнего дворца, мой дух изнемог под влиянием быстрого ряда событий. Желая знать впечатления этого дня на моего отца и дядю и видеть свое дитя, я попросила государыню отпустить меня в одной из придворных карет. Она позволила, но с тем, чтобы я как можно скорей возвратилась. Я прежде заехала к дяде, так как его дом был ближе, и нашла этого достойнейшего старика совершенно спокойным. Он говорил, что низвержение Петра III было событием весьма вероятным. Но разговор его особенно живо коснулся опасности – слишком неблагоприятно доверяться дружбе царей: «Она, – заметил он, – так же непродолжительна, как и вероломна». Он убеждал меня своим собственным опытом, доказавшим, что самые чистые побуждения, самые справедливые действия не всегда защищают от ядовитой зависти и интриг даже близ трона такого монарха, который признавал его заслуги и которому он был предан с ранних лет жизни.

Отсюда я отправилась к моему отцу и, к крайнему своему изумлению, застала его дом оцепленным сотней солдат. Это произошло вследствие излишнего усердия Какавинского, присланного сюда защитить его от пьяных гвардейских солдат, так как казармы их находились по соседству. Но этот офицер, вероятно испуганный многочисленной дворней моего отца, произвольно созвал весь отряд на помощь, зная в то же время, что в городе после отъезда императрицы в Петергоф осталось войска не больше, чем это было необходимо для охраны дворца и великого князя. Незадолго передо мной приходил унтер-офицер от лейтенант-полковника Вадковского, оставленного начальником гарнизона в Петербурге, и требовал тридцать человек из этого отряда на смену других, простоявших на часах вдвое больше определенного времени по глупости Какавинского. Я просила его немедленно исполнить это требование. Проходя по дому и видя у каждой двери часового, я повторила ему, что он не понял приказаний государыни, которая поставила его здесь на службу моему отцу, а не для ареста его как изменника. Потом, обратившись к солдатам, сказала им, что напрасно мучили их. Если бы из них осталось здесь десять или двенадцать человек, этого было бы совершенно достаточно впредь до новых распоряжений.

Отец принял меня без всякого ропота и неудовольствия. Он жаловался на обстоятельство, о котором я сейчас упомянула, и был недоволен тем, что дочь его Елизавета находилась с ним под одной кровлей. В первом случае я успокоила его, объяснив, что виной его стеснения было неразумие Какавинского и что к вечеру в его доме не будет ни одного солдата. Что же касается второго обстоятельства, я умоляла его подумать о критическом положении моей сестры, для которой его дом стал единственно честным убежищем, как некогда был естественным ее приютом. «Скоро, впрочем, – прибавила я, – ваше покровительство ей будет не нужно, и тогда, если на то будет обоюдная добрая воля, можно расстаться совершенно прилично».

Я не могла долго пробыть у дяди и отца, потому что обещала вскоре возвратиться к императрице. Притом мне еще было необходимо зайти домой, чтоб увидеть дочь и снять военный мундир. Отец жалел о том, что я так скоро покидаю его, и с трудом отпустил меня к сестре, которую я хотела навестить. Никогда он не принимал больше участия в ее судьбе;

к сожалению, его чувства, каковы бы они ни были, отнюдь не оправдывались полным неуважением дочери к своему отцу и тем презрением в общем мнении, которое он вынес вследствие ее поведения.

Когда я вошла в комнату своей сестры, она начала горько оплакивать бедствия этого дня и свое собственное несчастье. Относительно личных неприятностей я советовала ей утешиться. Уверив в полной готовности служить ей, я в то же время заметила: государыня так добра и благородна, что поможет ей без всякого участия с моей стороны. В этом отношении моя уверенность была совершенно основательна. Хотя императрица сочла отсутствие Елизаветы Воронцовой необходимым во время коронации, она постоянно посылала ей гонцов с уверением в своем покровительстве. Сестра вскоре удалилась в подмосковную деревню отца; когда же после коронования двор оставил Москву, она переселилась сюда и жила здесь до своего замужества с Полянским, вместе с ним она переехала в Петербург. Императрица была крестной матерью ее старшего сына, а через несколько лет ее дочь по моей просьбе была назначена фрейлиной.



Орден Святой Великомученицы Екатерины (или орден Освобождения) – орден Российской империи для награждения великих княгинь и дам высшего света, формально второй по старшинству в иерархии наград с 1714 до 1917 года.

Имел две степени: «большой крест» – для особ царской крови, и «малый крест», или кавалерственный – для претенденток из высшего дворянского сословия. Награжденные именовались соответственно «дамами большого креста» и «кавалерственными дамами»

Простившись с сестрой, я спешила поцеловать свою крошку Настасью. Эти разъезды потребовали так много времени, что я не успела переодеться. При выходе из дома служанка напомнила мне, что в моем кармане красная лента с бриллиантовым значком. Это был Екатерининский орден императрицы; я взяла его с собой.

Когда я вошла в переднюю, ведущую в комнаты государыни, мне встретились Григорий Орлов и Какавинский. Увидев Екатерину, я тотчас поняла, что Орлов был мой враг и, кроме него, никто бы не ввел этого последнего к императрице. Она стала упрекать меня за то, что я говорила по-французски с этим офицером в присутствии солдат и хотела распустить их по своим местам. Ответ мой был энергичный, выраженный на лице не совсем ласковой миной. «С тех пор как вы на престоле, – сказала я, – в это короткое время ваши солдаты показали такое доверие ко мне, что я не могла оскорбить их, на каком бы языке ни говорила». И чтобы не прибегать к дальнейшим объяснениям, подала ей красную ленту. «Погодите, – сказала она, – вы, конечно, согласитесь, что вы не вправе распускать солдат с их постов». – «Правда, – отвечала я, – но неужели наперекор требованию Вадковского я должна была позволить этому дураку Какавинскому делать все, что ему вздумается, и оставить без стражи наш дворец?» – «Ну ладно, – прибавила она, – дело кончено. Мое замечание относится к вашей торопливости, а это за ваши услуги». Она повесила мне Екатерининскую ленту на плечо. Вместо того чтобы принять ее на коленях, я возразила: «Простите мне, государыня; я думаю, что уже настало время, когда истина должна быть прогнана от вас. Позвольте мне, однако, сказать, что я не могу принять этого отличия: как простым украшением я не дорожу им; а как награда оно не стоит ничего для меня, заслуги которой, хотя и оценены некоторыми, но никогда не продавались и не будут продаваться с торгов». Екатерина горячо обняла меня, промолвив: «По крайней мере дружба имеет некоторые права, и неужели вы не позволите мне воспользоваться ее удовольствием в настоящую минуту?» Я поцеловала ее руку в знак признательности.

Таким образом, я была затянута в мундир, с алой лентой через плечо, без звезды, со шпорой на одном, выглядев как пятнадцатилетний мальчик.

Государыня сказала мне, что она уже приказала отправить гвардейского лейтенанта к князю Дашкову, желая немедленного возвращения его в Петербург. Такое внимание с ее стороны и в такое время так утешило меня, что я тотчас же забыла о прошлом неудовольствии. Также отдано приказание, продолжала она, отвести для нас комнаты во дворце, которые завтра будут готовы для меня. Я просила только позволения подождать мужа и вместе с ним переехать во дворец.

Вскоре, когда все стали расходиться, я поспешила домой и, разделив ужин со своей маленькой Настасьей, бросилась в постель. Но волнение духа и крови после чрезмерной деятельности не давали мне спокойно уснуть, и я провела всю ночь в лихорадочных грезах больного воображения и раздраженных нервов.

Я забыла упомянуть об одном небольшом разговоре с императрицей во время нашего возвращения из Петергофа, когда государыня, граф Разумовский, князь Волконский и я сошли с лошадей, сели в карету и спокойно ехали в Петербург. Екатерина, необыкновенно ласковым тоном обратившись ко мне, сказала: «Чем я могу отблагодарить вас за ваши услуги?» – «Чтобы сделать меня счастливейшей из смертных, – отвечала я, – немного нужно: будьте матерью России и позвольте мне остаться вашим другом». – «Все это, конечно, – продолжала она, – составляет мою неперемнную обязанность, но мне хотелось бы облегчить себя от чувства признательности, которому я обязана вам», – «Я думаю, что обязанности

дружбы не могут тяготить нас». – «Хорошо, хорошо, – сказала Екатерина, обнимая меня, – вы можете требовать от меня что угодно, но я никогда не успокоюсь, пока вы не скажете мне, и я желала бы знать именно теперь, что я могу сделать для вашего удовольствия». – «В таком случае, государыня, вы можете воскресить моего дядю, хотя он жив и здоров». – «Что это значит?» – спросила она. Я растерялась в самом начале своей просьбы и потому предложила потребовать объяснения от князя Волконского. «Я думаю, – сказал он, – что княгиня Дашкова понимает генерала Леонтьева, отлично служившего против Пруссии; он потерял седьмую часть своих поместий и четвертую из его прочей собственности по интригам его жены, которая по законам не имеет права на это имение вплоть до его смерти». Императрице было известно желание Петра разорять тех из офицеров, которые усердно служили против прусского короля; она поняла несправедливость и обещала исправить ее. «Воскресение его, – сказала она, – будет предметом моего первого указа, который я подпишу». – «И я совершенно буду вознаграждена вами: генерал Леонтьев – единственный брат и душевный друг княгини Дашковой, моей свекрови». Я тем более была довольна, что могла в это время оказать услугу семейству моего мужа и отклонить от себя всякую личную награду, противную моим внутренним убеждениям.

На следующий день Панин получил графское достоинство с пенсионом в пять тысяч рублей; князь Волконский и граф Разумовский – тот же пенсioen, а прочие заговорщики первого класса – по шестисот крестьян на каждого и по две тысячи рублей – или вместо крестьян – двадцать четыре тысячи рублей. Я удивилась, встретив свое имя в этом списке, но решила отказаться от всякого подарка. За это бескорыстие меня упрекали все участники революции. Мои друзья, впрочем, скоро заговорили другим тоном. Наконец, чтобы остановить всякие сплетни и не оскорбить государыню, я расписалась в бесчестии. Составив счет всем долгам моего мужа, я нашла, что сумма их равняется почти двадцати четырем тысячам рублям, и потому перенесла на его кредиторов права получить эти деньги из дворцовой казны.

На четвертый день после революции Бецкий просил свидания с императрицей и получил его. Я была одна с Екатериной, когда он вошел, и, к общему нашему изумлению, встав на колени, умолял ее признаться, чьему влиянию она обязана своим восшествием на престол. «Всевышнему и избранию моих подданных», – отвечала государыня. – «После этого, – сказал он с видимым отчаянием, – я считаю несправедливым носить это отличие». Он хотел снять Александровскую ленту с плеча, но императрица удержала его и спросила, чего он хочет. «Я несчастнейший из людей, – продолжал Бецкий, – когда вы не признаете во мне единственное лицо, которое приготовило вам корону. Не я ли возбуждал гвардию? Не я ли сыпал деньгами в народ?»

Мы думали, что он сошел с ума, и начали было беспокоиться, но вдруг императрица, с обыкновенной своей ловкостью обратив протест в комическую сцену и превознося самохвалство генерала до высочайшей степени, сказала: «Я вполне признаю ваши безмерные одолжения и так обязана вам венцом, то кому же лучше, как не вам, я могу поручить приготовить его для моей коронации? Поэтому я полагаюсь в этом деле на вашу распорядительность и под ваше начальство отдаю всех бриллианщиков моей империи».

Бецкий в восторге вскочил и после тысячи благодарностей поторопился убраться из комнаты, побежав, вероятно, рассказывать о награде, соответствующей его достоинству. Мы от всей души хохотали над этой выходкой, которая в то же время показывает гениальную находчивость и ловкость Екатерины и крайнюю глупость Бецкого.

Глава VII

В это время петербургский двор представлял особый интерес. Революция вывела на сцену новые характеры, многие изгнанники, сосланные в Сибирь в царствование Анны, в регентство Бирона и при Елизавете, были прощены Петром III и каждодневно возвращались. Некоторые из них, занимая государственные должности в прежние царствования и зная их закулисные тайны, напоминая своими несчастьями былые времена и наконец обратившие на себя общее любопытство и внимание после глухой неизвестности и политического небытия, выступили на сцену в ярком свете и знаменитости.

В числе их явился и канцлер Бестужев. Я была представлена ему в самых лестных выражениях, уязвивших Орловых. «Это молодая княгиня Дашкова, – сказала Екатерина. – Могли ли вы вообразить, что я буду обязана престолом дочери графа Романа Воронцова?»

За четыре года я видела Бестужева один раз и то мельком. Меня поразило его умное, или, лучше, скрытно-лукавое лицо. На свой вопрос я в первый раз услышала имя этого знаменитого характера. Я останавливаюсь на этом обстоятельстве, потому что в некоторых рассказах о революции меня обвиняли в заговоре с ним против Петра III, хотя мне было не более четырнадцати лет во время его изгнания. После этого понятно, до какой степени многие французские писатели доводят неуважение к истине, фактам, как будто они решили лишить историю всякого авторитета и наставления, обратив ее в безумную клевету и жалкую ложь.

Между этими привидениями общего воскресения были еще двое не менее замечательных людей – фельдмаршал Миних и Лесток. Я помнила их с детства, видев в доме моего дяди, который чрезвычайно был привержен им. Первый, восьмидесятилетний старик, отличался рыцарской вежливостью, еще больше заметной в сравнении с грубыми манерами некоторых из наших революционеров. Он сохранил всю характерную твердость ума, всю свежесть своих способностей. Его разговор необычайно интересовал меня, и я с особой гордостью пользовалась его снисходительностью и добротой в этом отношении. Я смотрела на этих двух стариков как на живые летописи минувших времен. Сравнивая настоящее с прошедшим, мой ум обогащался новыми познаниями, хотя неопытность и доселе обманывала меня юношеской мечтой – видеть в каждом человеческом сердце священный храм добродетели.

Но среди любопытных событий эпохи вдруг душа моя с ужасом встрепенулась от страшной действительности: я говорю о трагической смерти Петра III. Известие об этой катастрофе так оскорбило меня, такую мрачную тень бросило на славную реформу, что я, хотя и далека была от мысли считать Екатерину участницей в преступлении Алексея Орлова, не могла войти во дворец до следующего дня. Я нашла императрицу расстроенной, явно огорченной под влиянием новых впечатлений. «Я невыразимо страдаю от этой смерти, – сказала она. – Вот удар, который роняет меня в грязь». – «Да, мадам, – отвечала я, – смерть слишком скоропостижна для вашей и моей славы».

Между тем вечером, разговаривая в передней с некоторыми лицами, я имела неосторожность сказать, что Алексей Орлов, конечно, согласится: с этой поры нам невозможно даже дышать одним воздухом и едва ли у него достанет дерзости подойти ко мне как к знакомой. Теперь Орловы сделались моими врагами. И надо отдать справедливость Алексею Орлову: несмотря на свою обычную наглость, в продолжение двенадцати лет он не сказал мне ни одного слова.

Как ни был очевиден повод к подозрению императрицы, устроившей или только допустившей убийство своего мужа, мы имеем ясное опровержение этого подозрения – его опровергает собственноручное письмо Алексея Орлова, писанное им сразу же после злодеяния.

Его слог и бессвязность, несмотря на пьяное состояние автора, обнаруживают страх и укоры совести; он умоляет о прощении в раболепных выражениях.

Это письмо Екатерина II тщательно берегла вместе с другими важными документами в особой шкапулке. После ее смерти Павел приказал графу Безбородко разобрать и прочитать эти бумаги в своем присутствии. Когда было окончено чтение этого письма, Павел, перекрестившись, воскликнул: «Слава богу! Теперь рассеяны последние мои сомнения относительно участия матери в этом деле». Императрица и молодая Нелидова присутствовали при этом; государь также велел прочитать письмо великим князьям и графу Ростопчину.

Кто уважал память Екатерины II, для того ничего не могло быть отраднее этого открытия. Мои убеждения на этот счет не нуждались в доказательствах; вместе с тем я радовалась находке подобного акта, который заставлял молчать самую отвратительную клевету, тяготившую на женщине, при всех ее слабостях никогда не способной даже подумать о таком преступлении.

Свидание мое с князем Дашковым было верхом моей радости; оно обновило мое существование после такого бурного периода жизни, исполненной постоянных раздражений для души и тела. Императрица немедленно отпраздновала его приезд самым лестным образом для князя, назначив его командиром кирасирского полка, в котором она сама считалась полковником.

Этот полк при Елизавете и Петре III был первым гвардейским полком и управлялся почти исключительно немцами. Поэтому назначение русского во главе его было явлением утешительным для всего войска: князь Дашков сумел так хорошо поставить себя в отношении к своим сослуживцам, что юноши наперебой искали мест в этом корпусе, а так как князь не щадил никаких расходов на лошадей и обмундирование, этот полк скоро стал самым лучшим, самым избранным в целой армии.

Мы не теряя времени перебрались во дворец, почти каждый день обедали с императрицей, а ужинали в своих собственных комнатах, приглашая десять или двенадцать человек из наших знакомых каждый вечер.

Мечты мои относительно царской службы почти исчезли, и мне можно остановиться больше, чем следовало бы, на воспоминании о тех задушевных минутах, когда обольстительная власть императрицы часто смешивалась с ребяческими шалостями. Я пламенно любила музыку, а Екатерина – напротив. Князь Дашков, хотя и сочувствовал этому искусству, понимал его не больше императрицы. Несмотря на это, она любила слушать мое пение. Когда я продолжала его, она обыкновенно, подав секретный знак Дашкову, затягивала с ним дуэт, что называлось на ее языке небесной музыкой. Таким образом, они, не смысля ни одной ноты, составляли концерт, самый дикий и невыносимо раздражающий уши, вторя друг другу, со всеми ужимками, самым торжественным видом и гримасами артистов. Она также искусно подражала мяуканью кошки и блеянию зайца, всегда придумывала наполовину комические и сентиментальные выражения сообразно случаю. Иногда, прыгнув, подобно злой кошке, она нападала на первого проходившего мимо, растопыривая пальцы в виде лапы и завывая так резко, что на месте Екатерины Великой оказывался забавный паяц.

Я думаю, что никто в мире не обладал в равной степени с Екатериной быстротой ума, неистощимым разнообразием его источников и, главнее всего, прелестью манеры и умением скрасить самое обыкновенное слово, придать цену самому ничтожному предмету.

Эти мемуары должны быть зеркалом не только моей жизни, но и того духа, который влиял на меня. Поэтому я желаю рассказать еще один случай, где я испытала неудовольствие со стороны государыни. Ему придали гораздо больше значения, чем было на самом деле, и обратили его в злонамеренную сплетню. Как в этом, так и во всех подобных обстоятельствах, я не скрою ничего, что знаю. Что бы ни писали люди, пользующиеся за неимением другого авторитета обыденной молвой, я должна оговориться, что совершенного раз-

рыва между мной и Екатериной никогда не было. Что касается денежных вознаграждений, якобы полученных мной за услуги, мне достаточно напомнить, что императрица хорошо знала меня, ей было известно и то, что своекорыстие всего дальше было от моего сердца. Подобные расчеты были так чужды мне, что наперекор всезаражающему придворному эгоизму, который создал мне врагов из людей, обязанных мне, и назло всем опытам человеческой неблагодарности в течение всей моей жизни, я смело могу утверждать, что скромные мои средства всегда были готовы к пользе других.



Портрет Екатерины II Великой. Художник Ричард Бромптон. Около 1782 г.

Между примерами неблагодарности, глубоко огорчившей меня, был между прочим поступок молодого офицера Михаила Пушкина. Я расскажу о нем подробно, потому что с ним соединилось неудовольствие императрицы, о котором я только что говорила.

Этот молодой человек, отец которого был каким-то чиновником, потерявшим место за дурное поведение, был лейтенантом в одном полку с князем Дашковым. Мой муж часто помогал ему деньгами. Юношество любило Пушкина за его ум и умение хорошо говорить. Это обстоятельство и обычная фамильярность между офицерами заставили князя без дальних рассуждений допустить его в число своих друзей. По просьбе Дашкова перед самой нашей свадьбой я выручила его из неприятного и очень неловкого дела, в котором он был замешан с главным французским банкиром Гейнбером. Пушкин, вместо того чтобы заплатить долг последнему, вытолкал его из своего дома. По этому оскорблению, столь несправедливому, было начато следствие, в котором Гейнбера горячо поддерживал французский посланник маркиз Лопиталь. Так как мне часто случалось встречать маркиза в доме моего дяди, я попросила его окончить процесс. Он охотно согласился и написал князю Меншикову, начальнику Пушкина, уведомив его, что дело с Гейнбером решено полюбовно и потому можно считать его навсегда оконченным.

С этого времени карьера молодого человека была предметом наших забот. Однажды, в царствование Петра, императрица, разговаривая со мной о своем сыне, захотела поместить около него по совету Панина несколько хороших юношей в качестве сверстников, в особенности знающих иностранные языки и литературу. Я порекомендовала ей Пушкина как самого способного мальчика. Спустя несколько недель он был пойман на шалости самого скандального свойства. Хотя я лично не любила его, но по настоянию мужа возбудила к нему участие Екатерины и тем спасла его от беды.

Вскоре, незадолго до восшествия на престол императрицы, я проводила с ней один вечер в Петергофе, когда Панин привел показать ей сына. Между прочим заметив о чрезмерной застенчивости и даже дикости своего питомца, что наставник приписывал совершенному отчуждению великого князя от его однолетков, он опять в числе других напомнил о Пушкине, о котором говорил своему дяде князь Дашков перед отъездом из Петербурга.

Услышав это имя, императрица тотчас заметила, что, хотя она не обвиняет прямо Пушкина в его последнем поступке, однако его дело до того было гласным, что по одному уже подозрению он не может быть допущен к ее сыну.

Искренне одоблив возражение Екатерины и прибавив, что мы рекомендовали его прежде этого происшествия, я просила ее поразмыслить, не ложно ли он обвинен и что было бы очень жалко, если бы молодой человек по одной сомнительной молве потерял надежду быть полезным на своем месте.

Таковы были наши одолжения в отношении Пушкина, и вот как он отплатил за них.

Когда Екатерина была уже на престоле, а мы жили во дворце, однажды повечеру был приглашен к нам Пушкин, он явился, как обычно, в дурном расположении духа. Я заметила ему о том и спросила о причине. Он сказал, что дела его час от часу идут все хуже, и, несмотря на мое обещание, он теряет всякую надежду получить место при великом князе. Я утешала его, желая разогнать черные думы, причем старалась уверить, что если это место не достанется ему, то государыня назначит его на другое, и мое ходатайство в его пользу всегда будет готово. Я утешила и обнадежила его с уверенностью, что он положится на мое обещание так или иначе пособить ему. Но что же вышло? Едва он оставил меня, как встретил Зиновьева, которому с той же грустной физиономией рассказал о своем несчастье, что будто несчастье это происходит от недоверия к нему императрицы вследствие распущенных о нем дурных слухах, как он это сейчас узнал от меня. Зиновьев немедленно предложил ввести его к Григорию Орлову, своему другу. Предложение очень охотно было принято, и Пушкин попал под покровительство любовника. Орлов спросил его, в чем дело. Пушкин с мастерским красноречием повторил ему свою историю. Орлов, заметив в нем человека, способного клеветать на меня, принял сторону Пушкина и обещал ему успех, желая доказать, как мало значит для императрицы мое ходатайство.

В тот же вечер князь Дашков получил письмо. И что особенно удивило нас, оно было от того же Пушкина, написанное в виде оправдания в том, что Зиновьев представил его Орлову, что происходил разговор (он его не совсем хорошо помнит), но разговор такого свойства, который может иметь вредные последствия для меня. Как по пословице «на воре шапка горит», он хотел отречься от всего, что говорил Орлову, и обещал подтвердить свое оправдание письменно на следующее утро.

Я так презирала подобные проделки, что советовала не упоминать об этом, но Дашков счел неприличным отказать ему в таком невинном оправдании.

На другое утро я обычным порядком явилась к императрице. Речь немедленно зашла о Пушкине. «С чего вы взяли, – спросила Екатерина, – разрушать доверие подданного, внушая ему, что он потерял в моих глазах доброе мнение о себе и что я причиной несчастья Пушкина?»

Измученная этим обвинением, раздраженная неблагодарностью, я с трудом удержалась от гнева и ограничилась только одним возражением, что императрице хорошо известны мои хлопоты помочь ему. После этого я предоставляю ей самой судить о его подлости и только одного не понимаю, каким образом слово утешения могло быть обращено в ябедничество. Относительно же внушения недоверия к ее подданному я так была далека от всякой подобной мысли, что, напротив, убеждала его надеяться, если он не успеет получить место при великом князе, найти другое по милости царской и быть полезным своим дарованием правительству.

На этом наш разговор прекратился, и я думаю, мое объяснение удовлетворило императрицу, хотя я была глубоко уязвлена слишком поспешным и незаслуженным ее выговором.

Когда я увидела своего мужа, он сказал: «Ты права относительно этого бездельника Пушкина; мой слуга был у него именно в то время, которое он назначил, и он отказался прислать письменное подтверждение, избегая, разумеется, опасности оказаться лжецом под собственноручной распиской». – «Нам остается одно, – отвечала я, – забыть этого коварного негодяя; он никогда не был достоин твоей дружбы».

Последующее поведение Пушкина подтвердило мое мнение и низость его характера. Определенный с помощью Орловых начальником коллегии мануфактур, он стал подделывать банковские билеты, за что был сослан в Сибирь, где и окончил дни свои.

Глава VIII

Возвращаюсь к общественным делам. Коронация императрицы в это время была предметом общего внимания. В сентябре двор отправился в Москву. Я ехала в одной карете с Екатериной, а князь Дашков находился в ее свите. По дороге каждый город и деревня весело встречали государыню.

За несколько верст от Москвы мы остановились в Петровском, на даче графа Разумовского, где собрались должностные лица и толпы городских жителей в ожидании приезда императрицы.

Князь Дашков поспешил известить свою мать, от которой возвратился на другое утро. Я, со своей стороны, горела нетерпением обнять моего Мишу, сына, которого я за год перед тем оставила на попечение свекрови, поэтому я просила Екатерину отпустить меня до вечера. Она старалась уговорить остаться дома под тем предлогом, что мне необходимо отдохнуть. Я, однако, решила подождать не долее полудня. После обеда, когда я собралась ехать, императрица отозвала меня и мужа в другую комнату и очень осторожно и нежно предупредила, что мой Мишенька умер.

Это несчастье было для меня выше всякой меры. Я бросилась в дом, где он скончался, и не могла уже возвратиться в Петровское и жить во дворце, тем более участвовать в церемониях торжественного въезда в Москву. Императрицу я посещала каждый день, но избегала всех общественных собраний, продолжая жить в доме старой княгини Дашковой. Ее любовь и доброе расположение ко мне были источником моего утешения.

В это же самое время Орловы с их обычным пронырством искали случая унижить меня. Они устроили церемониал венчания. На основании немецкого этикета, введенного Петром I, военное сословие первенствовало на подобных выставках. Поэтому они назначили мне место в соборе не как другу императрицы, украшенному орденом Св. Екатерины, а как жене полковника, которая могла быть допущена в самых низших рядах.

Внутри собора была поставлена высокая платформа для зрителей этого класса, с нее ясно был виден каждый посетитель. Таким образом, замысел Орловых вполне достигал своей цели. Мои друзья единодушно советовали мне не являться. Поблагодарив, я заметила им, что было бы странно увлекаться самолюбием в то время, когда все мои дружеские и патриотические надежды готовы осуществиться. Та же гордость, которую враги стараются оскорбить, возвысит меня среди толпы при церемонии, которой я скорее дам, чем приму от нее истинное достоинство. Увы! Кто мог рассчитывать на бесчувственность этикета в такую минуту!

Забывая все личные чувства, я с искренним чувством встретила 22 сентября, день коронации. Ранним утром я вошла к императрице и за отсутствием больного великого князя находилась близ нее во время процессии в собор. По приходе я заняла свое скромное место между неизвестными людьми низших военных рядов. Может быть, убеждения мои в этом отношении не были поняты теми, кто измерял мои чувства списком календаря, но, как ни была я молода, истинная норма всякого отличия для меня заключалась в личном достоинстве: если трудно было унижить меня, то, конечно, потому, что я полагала настоящим унижением нашу собственную безнравственность.

Когда кончилось венчание, императрица возвратилась во дворец и села под царским балдахинном.

Началось длинное производство. Между первыми назначениями князь Дашков был пожалован в камергеры, что дало ему чин бригадира и не лишило полка; я была определена статс-дамой.

Москва представляла ряд непрерывных праздников. Народ, казалось, веселился от души, и почти вся зима прошла среди пиров и праздников. Мы не разделяли их по причине семейного горя. Младшая сестра моего мужа занемогла и, несмотря на крепкое телосложение, только продолжившее ее страдания, наконец скончалась, став жертвой невежества своего медика. Я тяжело скорбела за эту милую девушку, которая перед смертью не отпускала меня от себя ни днем ни ночью. Кроме того, мое собственное хилое здоровье и беременность заставили избегать всего, что выходило за круг этой печальной жизни. Князь Дашков, оплакивая смерть любимой сестры и утешая горюющую мать, также не имел ни времени, ни желания являться в общество. Чтобы не беспокоить себя приходом посетителей, мы никого не принимали, за исключением самых близких родственников.

При такой отшельнической жизни придворные события были нам известны мало, кроме общегласных происшествий, как, например, просьба Бестужева, которую он представил Екатерине, относительно ее второго брака.

Этот шарлатанский акт, облеченный в форму национального адреса, умолял императрицу почтить усердные желания любезных ее подданных избранием супруга, достойного ее царской руки. Этому акту мужественно и благородно противодействовал мой дядя, канцлер. Когда Бестужев принес ему адрес, подписанный многими сановниками, дядя просил не беспокоить его даже названием этого глупого и опасного проекта. Но Бестужев начал читать бумагу, тогда канцлер встал с кресел и, рассердившись нелепостью такой просьбы, вышел из комнаты.

Затем он приказал подать себе карету и, несмотря на то что был болен, отправился во дворец. Он немедленно хотел видеть императрицу и просить ее отвергнуть предложение, придуманное Григорием Орловым и основанное на его собственных честолюбивых замыслах. Канцлер требовал аудиенции, которая тотчас была дана ему. Он явился и говорил по поводу открытия, сделанного ему Бестужевым, который хотел дать своей собственной вздорной фабрикацией санкцию всего народа, будто бы желающего для себя и для своей монархини царя. Такая мера, продолжал он, оскорбит ее подданных; они имеют много причин, в этом нет сомнения, не желать ей такого мужа, а себе повелителя, как Григорий Орлов.

Императрица отвечала ему так: «Я никогда не уполномочивала этого старого интригана на этот поступок. Что же касается вас, я вижу в вашем откровенном и честном поведении слишком много приверженности ко мне, хотя вы всегда невпопад ее употребляете». Мой дядя возразил, что он действует по долгу совести, и уверен, что государыня сама, по доброй воле, отклонит это гибельное обстоятельство. Затем он ушел.

Такая твердость со стороны канцлера удивила всех и приобрела ему новое уважение в общественном мнении. Но Бестужев приписал ее предварительному согласию с императрицей, которая будто бы хотела с помощью этого протеста отделаться от настойчивости Орлова. Это подозрение, впрочем, было совершенно ложным, потому что болезнь не выпускала моего дядю из комнаты и не позволяла ему заниматься делами. Во всяком случае, чистота его характера защищает его от всякого нареkania в недостойном поступке.

Между тем Григорий Орлов, разочарованный в своих несбывшихся мечтах, был возведен в достоинство князя Германской империи. В то время как канцлер обличал интриги его адептов, другие, негодуя на его надменные желания, искали падения временщика. В числе их находился Гетроф, один из самых бескорыстных заговорщиков против Петра III. Изящные манеры и прекрасная наружность разжигали ревность, возбужденную его бескорыстием, в душе Орловых. Один из двоюродных братьев Гетрофа, Ржевский, участник революции со стороны обеих партий, пользовался обоюдным их доверием, но, любивший больше всего личную пользу, изменнически открыл Алексею Орлову замысел Гетрофа, который готовил вопиющий протест против просьбы Бестужева и успел скрепить его подписью всех тех, кто содействовал Екатерине взойти на престол. В то же время он предупредил его, что в случае

неудачи протеста любимцу угрожает месть. Гетроф был арестован; Алексей Орлов допрашивал его, говорят, с крайним бесстыдством и жестокостью, причем Гетроф с гордостью произнес, что он первым вонзит нож в сердце Григория Орлова и после того умрет, нежели согласится признать его своим монархом и быть свидетелем бедствия страны, только что освобожденной от тирана.



Князь Михаил Иванович Дашков. Неизвестный художник. XVIII в.

При другом следствии, производимом Суворовым, отцом славного фельдмаршала, Гетроф был спрошен, не имел ли он сношений со мной и какие мои мнения в этом отношении. «Я три раза, – отвечал он, – являлся к княгине Дашковой с намерением попросить ее совета, но она никого не принимала. Но, если бы я увидел ее, вполне открыл бы свои чувства. Убеж-

ден, что она посоветовала бы все, что должен внушать истинный патриотизм и нелицемерное великодушие».

Этот благородный ответ Гетрофа был под секретом сообщен Суворовым моему мужу, когда они на другой день встретились во дворце. Суворов, обязанный отцу Дашкова, с удовольствием передал ему столь лестный отзыв обо мне.

Возвращаясь к своим домашним делам. После смерти моей сестры княгиню Дашкову уговорили переехать с печального пепелища в дом ее брата, генерала Леонтьева. Я продолжала жить инвалидом в городе, проводя время в хандре и бесполезных занятиях.

Наконец, 12 мая по старому стилю у меня родился сын, а на другой день мой муж заболел скарлатиной, которой он часто был подвержен. При таком порядке вещей через три дня императрица прислала Дашкову письмо со своим секретарем Тепловым.

Дяди мои, Панины, сидели у нас, когда явился Теплов. Не желая встречаться с ними, а может, ему приказано было исполнить поручение с глазу на глаз, он попросил Дашкова выйти на улицу, чтобы здесь переговорить с ним.

Князь лежал в постели в одной комнате со мной; он встал, надел шинель, сошел с лестницы и принял от Теплова письмо Екатерины следующего содержания: «Я от всей души желала бы не забыть заслуги княгини Дашковой вследствие ее собственной забывчивости; напомните ей об этом, князь, так как она позволяет себе угрожать мне в своих разговорах».

Я ничего не знала об этом деле до вечера, когда подслушала совещание Паниных с мужем в его спальне и заметила беспокойное выражение лица моей сестры Александры, проходившей через мою комнату к брату. Эта грустная тайна в высшей степени встревожила меня; я боялась, что болезнь мужа примет дурной оборот, поэтому и желала видеть своих дядей. Они подошли к постели и, чтобы успокоить меня, передали мне содержание царского письма.

Я гораздо больше была недовольна Тепловым, который поднял мужа с постели, подвергая его опасности, чем несправедливостью этого странного обвинения. Впрочем, я желала прочитать письмо. Генерал Панин сказал, что Дашков поступил с этим письмом так, как он сам сделал бы в подобном случае: разорвал его на клочки и ответил на него очень резко.

Я чувствовала себя сверх ожиданий в спокойном состоянии духа и не роптала на императрицу. При таких врагах, какими она была окружена, всегда надо было ожидать подобных несправедливостей. Поэтому я хладнокровно поручила графу Панину спросить Екатерину, когда ей угодно будет назначить крещение моего ребенка, так как она обещала быть его крестной матерью. Сделав это предложение, я хотела знать, вспомнит ли она о своем обещании, несмотря на ложные обвинения, которыми старались возмутить ее против меня.

Когда дяди удалились, князь Дашков вошел в мою комнату. Его хладнокровие и желание рассеять мой страх были очевидными, но я изумилась его исхудалому лицу, так что, когда он возвратился в постель, я долго не могла заснуть. Наконец я забылась в лихорадочном сне, но меня разбудил крик и буйные песни пьяной толпы под окном. Эта толпа высыпала на улицу после увеселений Орловых, дом которых, к несчастью, был по соседству с нашим. Неистовые вакханалии с кулачными боями были любимым развлечением Орловых. Я так испугалась, потрясенная этим шумом, что тотчас же почувствовала паралич в левой руке и ноге. Предвидя опасность, я послала кормилицу за полковым лекарем, нашим домашним другом, приказав провести его так, чтобы не разбудить мужа. Когда лекарь пришел и взглянул на меня, то потерял всякую надежду и немедленно потребовал на помощь доктора и князя Дашкова. Я, однако, никого не впустила к себе до шести часов утра. За это время совершенно отчаялись в моей жизни, поэтому я позвала князя, поручила ему детей, больше всего умоляя позаботиться об их воспитании, потом поцеловала его, в знак вечной нашей разлуки.

Взор, выражение лица, с которым он принял мой холодный поцелуй, доселе живут в моем сердце. Эта предсмертная минута была для меня почти счастьем, но Богу угодно было отвести удар, который я ожидала с тихой покорностью, и продолжить мою безутешную жизнь после смерти моего милого мужа.

Императрица и великий князь были восприемниками моего сына, названного Павлом, но они не спросили о моем здоровье ни до, ни после церковного обряда.

Вскоре двор возвратился в Петербург. Мое выздоровление шло очень тихо, и я продолжала жить в Москве, принимая с некоторой пользой холодные ванны до июля. Между тем Дашков обязан был соединиться со своим полком в Петербурге и Дерпте, где тот стоял, а я переехала на дачу в семи верстах от Москвы.

Девица Каменская и ее сестры разделяли мое уединение до декабря, когда, чувствуя себя совершенно здоровой, я вместе с Каменской отправилась в Петербург к своему мужу. Мы поселились в наемном доме.

<...>

Глава XI

К несчастью для такого жалкого мореплавателя, как я, наше обратное плавание в Кале было очень неудачным. Ветер хорошо служил бы нам по направлению к Индии, но был так противен и бурен для нашего переезда, что мы вынуждены были двадцать шесть часов провести в каюте.

Волны хлестали в окна корабля, угрожая каждую минуту потопить нас; дети мои, необыкновенно перепуганные, горько плакали. Я решила дать им почувствовать все выгоды храбрости над трусостью. С этой целью я указала им на матросов, которые мужественно преодолевали опасности. Потом, заметив, что во всех обстоятельствах жизни надобно поручать себя воле Провидения, я приказала замолчать. Они покорно повиновались и, несмотря на порывы ветра и качку, заснули глубоким сном, между тем как я внутренне трепетала за них.

Наконец мы совершенно благополучно достигли Кале и отправились по брюссельской дороге в Прованс. В Брюсселе мы остановились только на несколько дней и отсюда без всякого промедления поехали в Париж.

В Париже я находилась не более трех недель, жила вдали от света, занятая обозрением церквей, монастырей, статуй, картинных галерей и вообще всех памятников искусства. Я избегала всяких знакомств, исключая знаменитого Дидро. В театры я являлась так, чтобы не быть замеченной, одетой в изношенное черное платье, старомодный чепчик, и садилась среди народа в партере.

Одним вечером, почти перед самым отъездом из Парижа, я сидела наедине с Дидро, когда служанка доложила о мадам Неккер и Жофрэнь. Дидро с его обычной живостью, не дав мне произнести ни одного слова, приказал отказать.

«Но, – сказала я, – мадам Неккер моя знакомая, а Жофрэнь переписывается с русской императрицей, и потому я была бы очень рада познакомиться с ней».

«Да ведь вы уверяли меня, – продолжал Дидро, – что не более двух или трех дней останетесь в Париже! Поэтому она увидит вас два или три раза, никак не больше, и, следовательно, характера вашего не узнает. Нет, я не хочу, чтобы мой идол был предан злословию. Если бы вы прожили здесь два или три месяца, я первый бы познакомил вас с мадам Жофрэнь – она превосходная женщина, но, будучи трубой Парижа, она затрубит о вашем характере, не узнав его хорошенько, на что я вовсе не согласен».

Убежденная замечанием Дидро, я велела девушке сказать, что я нездорова. Этого, однако, было мало. На другое утро я получила от Неккер записку; она писала о страстном желании ее друга увидеть меня и познакомиться с той личностью, о которой она составила самое высокое понятие. Я отвечала, что мое болезненное состояние лишает меня удовольствия принять их, тем более что я хотела бы сохранить их лестное мнение о себе и не потерять нежного пристрастия к моей особе.

Вследствие этого я была вынуждена просидеть весь день дома и послала карету за Дидро. После утренних прогулок, от восьми до трех часов пополудни, я обычно сама подъезжала к его двери и брала его с собой обедать, заговариваясь с ним иногда за полночь.

Однажды, мне помнится, мы коснулись в разговоре крепостного состояния в России. «Вы знаете, – сказала я, – что у меня не рабская душа; следовательно, я не могу быть и тираном. Поэтому я имею некоторое право на ваше доверие относительно этого вопроса. О свободе наших крестьян я некогда рассуждала с вами и потому старалась по возможности облегчить положение моих мужиков, предоставив им побольше воли. Но опыт доказал, что там, где прекращается над ними власть помещика, начинается произвол правительства, или, лучше сказать, самоуправство мелкого чиновника, который под маской службы позво-

ляет себе и грабить и развращать их. Богатство и счастье крепостных людей составляют единственный источник нашего собственного благосостояния и материальной прибыли; при такой аксиоме надо быть дураком, чтобы истощать родник личного нашего интереса. Помещики образуют переходную власть между престолом и крепостным сословием, и потому для нас выгодно защищать последнее от хищного произвола провинциальных начальников».

«Но, княгиня, – возразил Дидро, – вы не можете оспаривать меня в том, что свобода необходима их образованию и развитию промышленных сил».

«Если бы государь, разбив цепи, приковывающие крепостных к их помещикам, в то же время ослабил кандалы, наложенные его деспотической волей на дворянское сословие, я первая бы подписала этот договор своей собственной кровью. Но вы извините меня, если я замечу, что вы смешиваете действие с причиной: образование ведет за собой свободу, а не свобода творит образование, первое без второй никогда не породят анархию и возмущения. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они сами захотят быть свободными, потому что поймут, как надо пользоваться свободой без вреда для других и плодами ее, столь необходимыми каждому цивилизованному обществу».

«Вы отлично доказываете, милая княгиня, но я еще далеко не убежден».

«В наших основных законах, – продолжала я, – существуют некоторые гарантии против тиранства помещиков, хотя Петр I уничтожил многие из них и, между прочим, главную оборону бедного крестьянина – жаловаться на своего владельца. Впрочем, в настоящее царствование губернатор с согласия маршала и дворянского предводителя может наказать жестокого помещика, лишая его власти управления и отдавая его имение под опеку другого лица, избранного самими же дворянами. Этот предмет сильно занимал мою мысль, и я могу объяснить его следующим примером. Представьте себе слепца, лежащего на скале, висящей над бездной: естественный недостаток лишает его возможности видеть всю опасность его положения, но он может пользоваться благом других чувств – он весел, он ест, пьет, спит, слушает чириканье птиц и сам поет в минуты бессознательного самодовольства. Но вдруг является окулист и, не освободив его от прежнего положения, снимает с его глаз повязку. Что должно последовать затем? Поток открытого света только должен увеличить несчастье прозревшего слепца; он перестанет есть, пить или спать и весь погрузится в созерцание окружающей его пропасти, которой избежать ему невозможно. На некоторое время он забудется, а потом в цвете сил предастся отчаянию».

Дидро по какому-то механическому движению вскочил с кресел, пораженный меткостью моего объяснения. Он быстро заходил по комнате и в припадке страстного увлечения произнес: «Вы удивительная женщина! Вы разом опрокинули все мои идеи, которые я лелеял двенадцать лет». Это истинная характеристика Дидро, которому я не переставала удивляться даже в бурных порывах его пламенной природы.

Искренность и теплота его сердца, блеск гения вместе с его вниманием и уважением ко мне привязали меня к этому человеку на всю жизнь, и даже в настоящую минуту я свято чту его память. Мир не сумел оценить достойно этого необыкновенного человека. Простота и правда наполняли каждое его действие, и главная задача всей его жизни состояла в том, чтобы содействовать благу своих ближних. Если он иногда и увлекался заблуждениями, но никогда не шел против своих убеждений. Впрочем, не мне превозносить его редкие качества; это было делом более достойных его почитателей.

В один вечер, также в присутствии Дидро, мне доложили о Рюльере. Этот господин состоял в миссии барона Бретеля в Петербурге, где я часто видела его как у себя, так и в доме Каменской.

Я изъявила желание принять его, но Дидро, схватив меня за руку, с необыкновенным жаром сказал: «Одну минуту, княгиня: позвольте мне узнать, думаете ли вы возвратиться в Россию, когда кончится ваше путешествие?»

«Но что за вопрос! – сказала я. – Неужели вы считаете меня вправе лишать моих детей Отечества?»

«В таком случае не пускайте Рюльера, а почему – я скажу вам потом».

Это движение было таким живым и искренним, что я невольно повиновалась ему и немедленно приказала отказать очень любезному знакомому, вполне полагаясь на предусмотрительность Дидро.

«Вы разве не знаете, – продолжал он, – что Рюльер написал мемуары о русской революции?»

«Нет, – отвечала я. – Но если это так, то тем больше вы подстрекаете мое желание видеть его».

«Я расскажу вам, – сказал Дидро, – содержание их. Вы представлены во всей прелести ваших талантов, в полной красе женского пола. Но императрица обрисована совершенно в ином свете, как и польский король, с которым связь Екатерины раскрыта до последней подробности. Вследствие этого императрица поручила Бецкому и вашему уполномоченному князю Голицыну перекупить это сочинение. Торг, однако, так глупо был поведен, что Рюльер успел сделать три копии своего сочинения и одну передать в кабинет иностранных дел, другую – в библиотеку мадам де Граммом, а третью преподнес парижскому архиепископу. После этой неудачи Екатерина поручила мне заключить условие с Рюльером, но все, что я мог сделать, – взять с него обещание не издавать этих записок во время жизни как автора, так и государыни. Теперь вы видите, что ваш прием, сделанный Рюльеру, придал бы авторитета его книге, в высшей степени противной императрице, тем более что ее уже читали у мадам Жофрэнъ, у которой собираются все наши знаменитости, все замечательные иностранцы, и, следовательно, эта книга уже в полном ходу. Это, впрочем, не мешает мадам Жофрэнъ быть другом Понятовского, которого она во время пребывания его в Париже осыпала всевозможными ласками и потом писала ему как своему любимому сыну».

«Но как же это согласуется со здравым смыслом?» – спросила я.

«Что касается этого, – отвечал Дидро, – мы во Франции мало заботимся о том, думаем и действуем под влиянием минутных впечатлений. Нашего легкомыслия не исправляет ни старость, ни продолжительные опыты жизни».

После этого Рюльер еще два раза толкнулся в мои двери, но его не пустили. Меня глубоко тронула эта искренняя дружба Дидро, и она не осталась без хороших последствий, когда я по прошествии пятнадцати месяцев возвратилась в Петербург. Здесь я узнала от одного лица, некогда обязанного мне моей услугой и близкого Федору Орлову, что Дидро по отъезде моем из Парижа писал императрице. Он превознес до небес мою преданность ей, упомянув и о том, что я решительно отказалась принять Рюльера и тем уронила авторитет его книги гораздо ниже, чем он упал бы от критики десяти Вольтеров или пятнадцати бедных Дидро. Он даже не заикнулся мне о своем намерении уведомить императрицу, руководствуясь единственно своей прозорливостью и дружбой ко мне. Я никогда не перестану вспоминать с величайшей признательностью этот деликатный поступок.



Дени Дидро (1713–1784) – французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751). Иностраный почетный член Петербургской академии наук (1773).

Художник – Луи-Мишель ван Лоо 1767 г.

Прежде чем оставить Париж, мне хотелось увидеть Версаль, и я желала отправиться туда одна, никому не говоря об этом. Несмотря на убеждения Готинского, нашего уполномоченного, представившего мне тысячи затруднений ускользнуть от наблюдения французской полиции, я все-таки решилась. «Да помилуйте, – говорил Готинский, – как бы ни был мелок иностранец, он не может повернуться в Париже без того, чтобы не знали о всяком его движении».

Все же я попросила Готинского вывести своих лошадей за город. Потом, дав занятие своему французскому слуге на несколько часов, я взяла с собой русского лакея и одного старого майора, лечившегося в Париже, села с детьми в карету и приказала кучеру везти нас за город, чтобы подышать чистым воздухом. Подъехав к тому месту, где ждал нас Готинский, я соединилась с ним и покатила в Версаль. Уполномоченный проводил нас до дверей Версальского сада, куда мы вошли и гуляли до самого обеда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.